

ПРОЛОГ

Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

.....

Что есть Русская Империя наша?

Русская Империя наша есть географическое единство, что значит: часть известной планеты. И Русская Империя заключает: во-первых — великую, малую, белую и червонную Русь; во-вторых — грузинское, польское, казанское и астраханское царство; в-третьих, она заключает... Но — прочая, прочая, прочая.

Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: — из первопрестольного града и матери градов русских.

Град первопрестольный — Москва; и мать градов русских есть Киев.

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь), принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть петербургский Проспект.

Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов — и поиски нужного дома весьма облег-

4 чаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома́ суть — гм... да:... для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.

Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он — европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому что Невский Проспект — прямолинейный проспект.

Невский Проспект — немаловажный проспект в сем не русском — столичном — граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,
*в которой повествуется об одной
достойной особе, ее умственных играх
и эфемерности бытия*

Была ужасная пора:
О ней свежо воспоминанье.
О ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье, —
Печален будет мой рассказ.

А. Пушкин

Аполлон Аполлонович Аблеухов

Аполлон Аполлонович Аблеухов был весьма почтенного рода: он имел своим предком Адама. И это не главное: несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим, то есть сам прародитель семитских, хесситских и краснокожих народностей.

Здесь мы сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи.

Эти предки (так кажется) проживали в киргиз-кайсацкой орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу мирза Аб-Лай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Так о сем выходец из недр монгольского племени распространяется *Гербовник Российской Империи*. Для краткости после был превращен Аб-Лай-Ухов в Аблеухова просто.

Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода.

.....

6 Серый лакей с золотым галуном пуховкою стряхивал пыль с письменного стола; в открытую дверь заглянул колпак повара.

— «Сам-то, вишь, встал...»

— «Обтираются одеколоном, скоро пожалуют к кофью...»

— «Утром почтарь говорил, будто барину — письмецо из Гишпании: с гишпанскою маркою».

— «Я вам вот что замечу: меньше бы вы в письма-то совали свой нос...»

— «Стало быть: Анна Петровна...»

— «Ну и — стало быть...»

— «Да я, так себе... Я — что: ничего...»

Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Аблеухов прошествовал в кабинет.

.....

Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение: придать карандашному острию отточенность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил... пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости, прежде чем сообразить, что в руках у него пресс-папье, а не карандаш.

Рассеянность проистекала оттого, что в сей миг его осенила глубокая дума; и тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход (Аполлон Аполлонович спешил в *Учреждение*). В «Дневнике», должествующем появиться в год его смерти в повременных изданиях, стало страничкою больше.

Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович записывал быстро: записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откусивать кофей свой.

Предварительно с какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика:

— «Николай Аполлонович встал?»

— «Никак нет: еще не вставали...»

Аполлон Аполлонович недовольно потер переносицу:

— «Ээ... скажите: когда же — скажите — Николай Аполлонович, так сказать...»

— «Да встают они поздновато-с...»

— «Ну, как поздновато?»

И тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофее, посмотрев на часы.

Было ровно половина десятого.

В десять часов он, старик, уезжал в Учреждение. Николай Аполлонович, юноша, поднимался с постели через два часа после. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения. И каждое утро он морщился.

Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения...

Аполлон Аполлонович Аблеухов отличался поступками доблести; не одна упала звезда на его золотом расшитую грудь: звезда Станислава и Анны, и даже: даже Белый Орел.

Лента, носимая им, была синяя лента.

А недавно из лаковой красной коробочки на обиталище патриотических чувств воссияли лучи бриллиантовых знаков, то есть орденский знак: Александра Невского.

Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица?

Думаю, что вопрос достаточно неуместен: Аблеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей; эти речи, не разрываясь, сверкали и безгромно струили какие-то яды на враждебную партию, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Аблеухова на ответственный пост департамент девятый бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами и, где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок (департамент девятый за ввоз не стоял). Речи сенатора облетели все области и губернии, из которых иная в пространственном отношении не уступит Германии.

8 Аполлон Аполлонович был главой Учреждения: ну, *того...* как его?

Словом, был главой Учреждения, разумеется, известного вам.

Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению; но ведь вот — удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этою вот черепною коробкою наперекор всей России, наперекор большинству департаментов, за исключением одного: но глава того департамента, вот уж скоро два года, замолчал по воле судеб под плитой гробовой.

Моему сенатору только что исполнилось шестьдесят восемь лет; и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье (в минуту торжественную), и — папье-маше (в час досуга); каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней.

От себя еще скажем: Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен: на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех «*жидовских*» журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой...

Северо-восток

В дубовой столовой раздавалось хрипенье часов; кланяясь и шипя, куковала серенькая кукушка; по знаку старинной кукушки сел Аполлон Аполлонович перед фарфоровой чашкою и отламывал теплые корочки белого хлеба. И за кофею свои прежние годы вспоминал Аполлон Аполлонович; и за кофею — даже, даже — пошучивал он:

— «Кто всех, Семеныч, почтеннее?»

— «Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех — действительный тайный советник».

Аполлон Аполлонович улыбнулся одними губами:

— «И не так полагаете: всех почтеннее — трубочист...»

Камердинер знал уже окончание каламбура: но об этом он из почтения — молчок.

— «Почему же, барин, осмелюсь спросить, такая честь трубочисту?»

— «Перед действительным тайным советником, Семеныч, сторонятся...»

— «Полагаю, что — так, ваше высокопрев-ство...»

— «Трубочист... Перед ним посторонится и действительный тайный советник, потому что: запачкает трубочист».

— «Вот оно как-с», — вставил почтительно камердинер...

— «Так-то вот: только есть должность почтеннее...»

И тут же прибавил:

— «Ватерклозетчика...»

— «Пфф!..»

— «Сам трубочист перед ним посторонится, а не только действительный тайный советник...»

И — глоток кофея. Но заметим же: Аполлон Аполлонович был ведь сам — действительный тайный советник.

— «Вот-с, Аполлон Аполлонович, тоже бывало: Анна Петровна мне сказывала...»

При словах же «Анна Петровна» седой камердинер осекся.

.....

— «Пальто серое-с?»

— «Пальто серое...»

— «Полагаю я, что серые и перчатки-с?»

— «Нет, перчатки мне замшевые...»

— «Потрудитесь, ваше высокопревосходительство, обождать-с: ведь перчатки-то у нас в шифоньерке: полка *бе* — северо-запад».

Аполлон Аполлонович только раз вошел в мелочи жизни: он однажды проделал ревизию своему инвентарю;

10 инвентарь был зарегистрирован в порядке и установлена номенклатура всех полок и полочек; появились полочки под литерами: *а, бе, це*; а четыре стороны полочек приняли обозначение четырех сторон света.

Уложивши очки свои, Аполлон Аполлонович отмечал у себя на реестре мелким, бисерным почерком: очки, полка — *бе* и *СВ*, то есть северо-восток; копию же с реестра получил камердинер, который и вытвердил направления принадлежностей драгоценного туалета; направления эти порою во время бессонницы безошибочно он скандировал наизусть.

.....

В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно; тем не менее грозы житейские протекали здесь гибельно: событиями не гремели они; не блистали в сердца очистительно стрелами молний; но из хриплого горла струей ядовитых флюидов вырывали воздух они; и крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах.

Барон, борона

Со стола поднялась холодная длинноногая бронза; ламповый абажур не сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век потерял; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал; и вон то — увенчивал крылышком золотощекий амурчик; и вон там — золотого венка и лавры, и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик.

Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушечек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна,

тому назад — тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули некстати так в сенаторской голове...

Тотчас же глаза перевел на рояль он.

С желтой лаковой крышки там разблестались листики бронзовой инкрустации; и опять (докучная память!) Аполлон Аполлонович вспомнил: белую петербургскую ночь; в окнах широкая там бежала река; и стояла луна; и гремела рулада Шопена: помнится — игрывала Шопена (не Шумана) Анна Петровна...

Разблестались листики инкрустации — перламутра и бронзы — на коробочках, полочках, выходящих из стен. Аполлон Аполлонович уселся в ампириное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки, и с китайского он подносика ухватился рукою за пачку нераспечатанных писем; наклонилась к конвертам лысая его голова. В ожидании лакея с неизменным «лошади поданы» углублялся он здесь, перед отъездом на службу, в чтение утренней корреспонденции.

Так же он поступил и сегодня.

И конвертики разрывались: за конвертом конверт; обыкновенный, почтовый — марка наклеена косо, неразборчивый почерк.

— «Мм... Так-с, так-с, так-с: очень хорошо-с...»

И конверт был бережно спрятан.

— «Мм... Просьба...»

— «Просьба и просьба...»

Конверты разрывались небрежно; это — со временем, потом: как-нибудь...

Конверт из массивной серой бумаги — запечатанный, с вензелем, без марки и с печатью на сургуче.

— «Мм... Граф Дубльве... Что́ такое?.. Просит принять в Учреждении... Личное дело...»

— «Ммм... Ага!..»

Граф Дубльве, начальник девятого департамента, был противник сенатора и враг хуторского хозяйства.

Далее... Бледно-розовый, миниатюрный конвертик; рука сенатора дрогнула; он узнал этот почерк — почерк

12 Анны Петровны; он разглядывал испанскую марку, но конверта не распечатал:

- «Мм... деньги...»
- «Деньги были же посланы?»
- «Деньги посланы будут!!..»
- «Гм... Записать...»

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костяную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку «*отослать обратно по адресу*», как...

- «?..»
- «Поданы-с...»

Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты.

.....

На стенах висели картины, отливая масляным лоском; и с трудом через лоск можно было увидеть французенок, напоминавших гречанок, в узких туниках былых времен Директории и в высочайших прическах.

Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида «*Distribution des aigles par Napoléon premier*»*. Картина изображала великого Императора в венке и горностайной порфире; к пернатому собранию маршалов простирал свою руку Император Наполеон; другая рука зажимала жезл металлический; на верхушку жезла сел тяжелый орел.

Холодно было великолепье гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной.

Но сенатором Аблеуховым оно возводилось в принцип.

Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то

* Полное название произведения — *фр.* Serment de l'armée fait à l'empereur après la distribution des aigles au champ de Mars, 5 décembre 1804, что буквально переводится как «Клятва армии, принесенная императору после раздачи орлов на Марсовом поле, 5 декабря 1804 года». — *Здесь и далее примеч. ред.*

близ кухни; в этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и кидались друг к другу — на гулких этих паркетах; и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей.

С отъезда Анны Петровны: безмолвствовала гостиная, опустила крышка рояля: не гремела рулада.

Да — по поводу Анны Петровны, или (проще сказать) по поводу письма из Испании: едва Аполлон Аполлонович прошествовал мимо, как два юрких лакейчика зататорили быстро.

— «Письмо не прочел...»

— «Как же: станет читать он...»

— «Отошлет?»

— «Да уж видно...»

— «Эдакий, прости Господи, камень...»

— «Вы, я вам скажу, тоже: соблюдали бы вы словесную деликатность».

.....

Когда Аполлон Аполлонович спускался в переднюю, то его седой камердинер, спускаясь в переднюю тоже, снизу вверх поглядывал на почтенные уши, сжимая в руке табакерку — подарок министра.

Аполлон Аполлонович остановился на лестнице и подыскивал слово.

— «Мм... Послушайте...»

— «Ваше высокопревосходительство?»

Аполлон Аполлонович подыскивал подходящее слово:

— «Что вообще — да — поделывает... поделывает...»

— «?..»

— «Николай Аполлонович».

— «Ничего себе, Аполлон Аполлонович, здравствуют...»

— «А еще?»

— «По-прежнему: затворяться изволят и книжки читают».

— «И книжки?»

— «Потом еще гуляют по комнатам-с...»

— «Гуляют — да, да... И... И? Как?»

— «Гуляют... В халате-с!..»

- 14 — «Читают, гуляют... Так... Дальше?»
— «Вчера они поджидали к себе...»
— «Поджидали кого?»
— «Костюмера...»
— «Какой такой костюмер?»
— «Костюмер-с...»
— «Гм-гм... Для чего же такого?»
— «Я так полагаю, что они поедут на бал...»

.....

— «Ага — так: поедут на бал...»

Аполлон Аполлонович потер себе переносицу: лицо его просветилось улыбкой и стало вдруг старческим:

- «Вы из крестьян?»
— «Точно так-с!»
— «Ну, так вы — знаете ли — барон».
— «?»
— «Борона у вас есть?»
— «Борона была-с у родителя».
— «Ну, вот видите, а еще говорите...»

Аполлон Аполлонович, взяв цилиндр, прошел в открытую дверь.

Карета пролетела в туман

Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши; низвергалась холодными струйками с жестяных желобов.

Изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкою пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался тоскливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого ропота — в бесконечном токе таких же, как он, — среди лёта, грохота, трепетанья пролетов, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев (гул, потом убывающий снова), в непрерывном окрике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убежал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечности.

А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издали́ка-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось — опустятся воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватую мутью в тумане гремел и дрожал, вон куда убегая, черный, черный такой Николаевский Мост.

В это ммурое петербургское утро распахнулись тяжелые двери роскошного желтого дома: желтый дом окнами выходил на Неву. Бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру. Серые в яблоках кони рванулись к подъезду; подкатили карету, на которой был выведен стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря.

Молодцеватый квартальный, проходивший мимо крыльца, поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из подъезда и еще быстрее вбежал на подножку кареты, на ходу надевая черную замшевую перчатку.

Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на квартального надзирателя, на карету, на кучера, на большой черный мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядел Васильевский Остров.

Серый лакей поспешно хлопнул каретною дверцею. Карета стремительно пролетела в туман; и случайный квартальный, потрясенный всем виденным, долго-долго глядел чрез плечо в грязноватый туман — туда, куда стремительно пролетела карета; и вздохнул, и пошел; скоро скрылось в тумане и это плечо квартального, как скрывались в тумане все плечи, все спины, все серые лица

16 и все черные, мокрые зонты. Посмотрел туда же и почтенный лакей, посмотрел направо, налево, на мост, на пространство Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали, и откуда испуганно поглядывал Васильевский Остров.

Здесь, в самом начале, должен я прервать нить моего повествования, чтоб представить читателю местодействие одной драмы. Предварительно следует исправить вкравшуюся неточность: в ней повинен не автор, а авторское перо: в это время трамвай еще не бегал по городу: это был тысяча девятьсот пятый год.

Квадраты, параллелепипеды, кубы

— «Гей, Гей...»

Это покрикивал кучер...

И карета разбрызгивала во все стороны грязь.

Там, где взвесилась только одна туманная сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю спустился — грязноватый, черновато-серый Исакий; намечался и вовсе наметился: конный памятник Императора Николая; металлический Император был в форме Лейб-Гвардии; у подножия из тумана просунулся и в туман обратно ушел косматую шапкою николаевский гренадер.

Карета же пролетела на Невский.

Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его ограничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от протекающих людских толп, от тоскливо мокнувших красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.

Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.

Гармонической простотой отличались его вкусы.

Более всего он любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек; и еще об одном: иные все города пред-

ставляют собой деревянную кучу домишек, и разительно от них всех отличается Петербург.

17

Мокрый, скользкий проспект: там дома сливались кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной лишь в одном отношении: не было у этого ряда ни конца, ни начала; здесь середина жизненных странствий носителя бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.

Всякий раз вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный куб: там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в ясные дни издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни, — ничего, ничего.

А там были — линии: Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман —

- на теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу...

Поотплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы здесь бражничал православный народ: род ублюдочный пошел с островов — ни люди, ни тени, — оседаая на грани двух друг другу чуждых миров.

Аполлон Аполлонович островов не любил: население там — фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; и теперь вот он знал, что там циркулирует браунинг; и еще кое-что. Аполлон Аполлонович думал: жители островов при-

18 числены к народонаселению Российской Империи; всеобщая перепись введена и у них; у них есть нумерованные дома, участки, казенные учреждения; житель острова — адвокат, писатель, рабочий, полицейский чиновник; он считает себя петербуржцем, но он, обитатель ха́бса, угрожает столице Империи в набегающем облаке...

Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова — раздавить, раздавить! Приковать их к земле железом огромного моста и проткнуть во всех направленьях проспектными стрелами...

И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы... чтобы...

После линии всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат.

Он, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, параллелепипедов, кубов, трапеций. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усеченного конуса.

Зигзагообразной же линии он не мог выносить.

Здесь, в карете, Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу без дум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого куба: Аполлон Аполлонович был рожден для одиночного заключения; лишь любовь к государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста.

.....

Мокрый, скользкий проспект пересекался мокрым проспектом под прямым, девяностоградусным углом; в точке пересечения линий стал городской...

19

И такие же точно там возвышались дома, и такие же серые проходили там токи людские, и такой же стоял там зелено-желтый туман. Сосредоточенно побежали там лица; тротуары шептались и шаркали; растирались калошами; плыл торжественно обывательский нос. Носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушинные, зеленоватые, белые; протекало здесь и отсутствие всякого носа. Здесь текли одиночки, и пары, и тройки-четверки; и за котелком котелок: котелки, перья, фуражки; фуражки, фуражки, перья; треуголка, цилиндр, фуражка; платочек, зонтик, перо.

Но параллельно с бегущим проспектом был бегущий проспект с все таким же рядом коробок, нумерацией, облаками; и тем же чиновником.

Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень.

За Петербургом же — ничего нет.

Жители островов поражают вас

Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками; лица их зеленей и бледней всех земнородных существ; в скважину двери проникнет островитянин — какой-нибудь разночинец: может быть, с усиками; и того гляди выпросит — на вооружение фабрично-заводских рабочих; заговорит, зашепчется, захихикает: вы дадите; и потом не будете вы больше спать по ночам; заговорит, зашепчется, захихикает ваша комната: это он, житель острова — незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый, его — нет как нет; он уж — в губернии; и глядишь — заговорят, зашепчутся там, в пространстве, уездные дали; загремит, заговорит в уездной дали там — Россия.

Был последний день сентября.

20 На Васильевском Острове, в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый; с дворика в дом уводила черная, грязноватая лестница: были двери и двери; одна из них отворилась.

Незнакомец с черными усиками показался на пороге ее.

Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец спускаться; он сходил с высоты пяти этажей, осторожно ступая по лестнице; в руке у него равномерно качался не то чтобы маленький, и все же не очень большой узелочек, перевязанный грязной салфеткой с красными каймами из линючих фазанов.

Мой незнакомец отнесся с отменной осторожностью в обращении с узелком.

Лестница была, само собой разумеется, черной, усеянной огуречными корками и многократно ногой продавленным капустным листом. Незнакомец с черными усиками на ней поскользнулся.

Одной рукой он тогда ухватился за лестничные перила, а другая рука (с узелком) растерянно описала в воздухе нервный зигзаг; но описыванье зигзага относилось, собственно, к локтю: незнакомец мой, очевидно, хотел охранить узелок от досадной случайности — от паденья с размаху на каменную ступень, потому что в движении локтя проявилась воистину ловкая фортель акробата: деликатную хитрость движенья подсказывал некий инстинкт.

А затем в встрече с дворником, поднимавшимся вверх по лестнице с перекинутой чрез плечо охапкою осиновых дров и загородившим дорогу, незнакомец с черными усиками снова усиленно стал выказывать деликатное попечение о судьбе своего узелка, могущего зацепить за полено; предметы, хранимые в узелке, должны были быть предметами особенно хрупкими.

Не было бы иначе понятно поведение моего незнакомца.

Когда знаменательный незнакомец осторожно спустился к выходной черной двери, то черная кошка, оказавшаяся у ног, фыркнула и, задрвав хвост, пересекла до-

рогу, роняя к ногам незнакомца куриную вунтренность; лицо моего незнакомца передернула судорога; голова же нервно закинулась, обнаружив нежную шею.

Эти движения были свойственны барышням доброго времени, когда барышни этого времени начинали испытывать жажду: подтвердить необычайным поступком интересную бледность лица, сообщенную выпиванием уксуса и сосанием лимонов.

И такие ж точно движенья отмечают подчас молодых, изнуренных бессонницей современников. Незнакомец такоу бессонницею страдал: прокуренность его обиталища на то намекала; и о том же свидетельствовал синеватый отлив нежной кожи лица, — столь нежной кожи, что не будь незнакомец мой обладателем усиков, вы б, пожалуй, приняли незнакомца за переодетую барышню.

И вот незнакомец — на дворике, четырехугольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом пятью этажами многооконной громадины. Посредине двора были сложены отсыревшие сажени осинового дрова; и был виден и отсюда кусок семнадцатой линии, обвистанной ветром.

Линии!

Только в вас осталась память петровского Петербурга.

Параллельные линии на болотах некогда провел Петр; линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую округленную линию, в александровский строй белокаменных колоннад.

Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики; вон бревенчатый домик; вон — домик зеленый; вот — синий, одноэтажный, с ярко-красною вывеской «Столовая». Точно такие вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще, прямо в нос, бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой, и прибережным брезентом.

22 Линии!

Как они изменились: как их изменили эти суровые дни!

Незнакомец припомнил: в том вон окошке того глянцевого домика в летний вечер июньский старушка жевала губами; с августа затворилось окошко; в сентябре принесли газетовый гроб.

Он думал, что жизнь дорожает и рабочему люду будет скоро — нечего есть; что оттуда, с моста, вонзается сюда Петербург своими проспектными стрелами с ватагою каменных великанов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю островную бедноту.

Незнакомец мой с острова Петербург давно ненавидел: там, оттуда вставал Петербург в волне облаков; и парили там здания; там над зданиями, казалось, парил кто-то злобный и темный, чье дыхание крепко обковывало льдом гранитов и камней некогда зеленые и кудрявые острова; кто-то темный, грозный, холодный оттуда, из воющего хаоса, уставился каменным взглядом, бил в сумасшедшем парении нетопыриными крыльями; и хлестал ответственным словом островную бедноту, выдаваясь в тумане: черепом и ушами; так недавно был кто-то изображен на обложке журнальчика.

Незнакомец это подумал и зажал в кармане кулак; вспомнил он циркуляр и вспомнил, что падали листья: незнакомец мой все знал наизусть. Эти павшие листья — для скольких последние листья: незнакомец мой стал — синеватая тень.

.....

От себя же мы скажем: о, русские люди, русские люди! Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте! Бойтесь островитян! Они имеют право свободно селиться в Империи: знать, для этого чрез летийские воды к островам перекинуты черные и серые мосты. Разобрать бы их...

Поздно...

Николаевский Мост полиция и не думала разводить; темные повалили тени по мосту; между теми тенями

и темная повалила по мосту тень незнакомца. В руке у нее равномерно качался не то чтобы маленький, а все же не очень большой узелочек.

И, увидев, расширились, засветились, блеснули...

В зеленоватом освещении петербургского утра, в спасительном «*кажется*» пред сенатором Аблеуховым циркулировал и обычный феномен: явление атмосферы — поток людской; тут люди немели; потоки их, набегая волнообразным прибоем, — гремели, рычали; обычное ухо же не воспринимало нисколько, что прибой тот людской есть прибой громовой.

Спаянный маревом сам в себе поток распадался на звенья потока: протекало звено за звеном; умопостигаемо каждое удалялось от каждого, как система планет от системы планет; ближний к ближнему тут находился в таком же приблизительном отношении, в каковом находится лучевой пучок небосвода в отношении к сетчатой оболочке, проводящей в мозговой центр по нервному телеграфу смутную, звездную, промерцавшую весть.

С предтекущей толпой престарелый сенатор сообщался при помощи проволок (телеграфных и телефонных); и поток теневой сознанию его предносился, как за далями мира спокойно текущая весть. Аполлон Аполлонович думал: о звездах, о невнятности пролетавшего громового потока; и, качаясь на черной подушке, высчитывал силу он света, воспринимаемого с Сатурна.

Вдруг... —

— лицо его сморщилось и передернулось тиком; судорожно закатились каменные глаза, обведенные синевой; кисти рук, одетые в черную замшу, подлетели на уровень груди, будто он защищался руками. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнувшись в стенку, упал на колени под оголенную головой...

Безотчетность сенаторского движенья не поддавалась обычному толкованию; кодекс правил сенатора ничего такого не предусматривал...

24 Созерцая текущие силуэты — котелки, перья, фуражки, фуражки, фуражки, перья, — Аполлон Аполлонович уподоблял их точкам на небосводе; но одна из сих точек, срываясь с орбиты, с головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового шара, то есть, хочу я сказать: —

— созерцая текущие силуэты (фуражки, фуражки, перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, из перьев, из котелков увидал с угла пару бешеных глаз: глаза выражали одно недопустимое свойство; глаза узнали сенатора; и, узнавши, сбесились; может быть, глаза поджидали с угла; и, увидев, расширились, засветились, блеснули.

Этот бешеный взгляд был сознательно брошенным взглядом и принадлежал разночинцу с черными усиками, в пальто с поднятым воротником; углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлонович скорее, чем вспомнил, сообразил еще нечто: в правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок.

Дело было так просто: стиснутая потоком пролеток, карета остановилась у перекрестка (городовой там приподнял свою белую палочку); мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролеток, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, — этот поток теперь просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки, попирающей тот же самый проспект: обеспокоенный, Аполлон Аполлонович вплотную придвинулся к стеклам кареты, увидевши, что всего-то он отделен от толпы тонкой стенкою и четырехвершковым пространством; тут увидал разночинца он; и стал спокойно рассматривать; что-то было достойное быть замеченным во всей невзрачной фигуре той; и, наверное б, физиономист, невзначай встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный: и потом меж делами вспоминал бы то виденное лицо; особенность сего выражения заключалась

лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий — ни в чем более... 25

Наблюдение это промелькнуло бы в сенаторской голове, если бы наблюдение это продлилось с секунду; но оно не продлилось. Незнакомец поднял глаза и — за зеркальным каретным стеклом, от себя в четырехвершковом пространстве, увидел не лицо он, а... череп в цилиндре да огромное бледно-зеленое ухо.

В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца — ту самую бескрайность хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирует туманная, многотрубная даль, и Васильевский Остров.

Вот тогда-то вот глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули; и тогда-то вот, отделенные четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза.

Пролетела карета; с нею же пролетел Аполлон Аполлонович в те сырые пространства; там, оттуда — в ясные дни восходили прекрасно — золотая игла, облака и багровый закат; там, оттуда сегодня — рои грязноватых туманов.

Там, в роях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он то же все: рои грязноватого дыма; сердце забилось; и ширилось, ширилось, ширилось; в груди родилось ощущение растущего, багрового шара, готового разорваться и раскидаться на части.

Аполлон Аполлонович Аблеухов страдал расширением сердца.

Все это длилось мгновенье.

Аполлон Аполлонович, машинально надевши цилиндр и замшевой черной рукою прижавшись к скакавшему сердцу, вновь отдался любимому созерцанию кубов, чтобы дать себе в происшедшем спокойный и разумный отчет.

Аполлон Аполлонович снова выглянул из кареты: то, что он видел теперь, изгладило бывшее: мокрый, скользкий проспект; мокрые, скользкие плиты, лихорадочно заблиставшие сентябрёвским денечком!

.....

26 Кони остановились. Городовой отдал под козырек. За подъездным стеклом, под бородатой каприатидою, подпиравшей камни балкончика, Аполлон Аполлонович увидал то же все зрелище: там блистала медная, тяжкоглавая булава; на восьмидесятилетнее плечо там упала темная треуголка швейцара. Восьмидесятилетний швейцар засыпал над «Биржевкой». Так же он засыпал позавчера, вчера. Так же он спал роковое то пятилетие... Так же проспит пятилетие впродоль.

Пять лет уж прошло с той поры, как Аполлон Аполлонович подкатил к Учреждению безответственным главой Учреждения: пять с лишком лет прошло с той поры! И были события: проволновался Китай и пал Порт-Артур. Но виденье годин — неизменно: восьмидесятилетнее плечо, галун, борода.

.....

Дверь распахнулась: медная булава простучала. Аполлон Аполлонович из каретного дверца пронес каменный взор в широко открытый подъезд. И дверь затворилась.

Аполлон Аполлонович стоял и дышал.

— «Ваше высокопревосходительство... Сядьте-с... Ишь ты, как задыхаетесь...»

— «Все-то бегаете, будто маленький мальчик...»

— «Посидите, ваше высокопревосходительство: отдышитесь...»

— «Так-то вот-с...»

— «Может... водицы?»

Но лицо именитого мужа просветилось, стало ребяческим, старческим; изошло все морщинками:

— «А скажите, пожалуйста: кто муж графини?»

— «Графини-с?.. А какой, позволю спросить?»

— «Нет, просто графини?»

— «?»

— «Муж графини — графин?»

.....

«Хе-хе-хе-с...»

.....

А уму непокорное сердце трепетало и билось; и от этого все кругом было: тем — да не тем...

Двух бедно одетых курсисточек...

Среди медленно протекающих толп протекал незнакомец; и вернее, он утекал в совершенном смятенье от того перекрестка, где потоком людским был притиснут он к черной карете, откуда уставились на него: череп, ухо, цилиндр.

Это ухо и этот череп!

Вспомнив их, незнакомец кинулся в бегство.

Протекала пара за парой: протекали тройки, четверки; от каждой под небо вздымался дымовой столб разговора, переплетаясь, сливаясь с дымовым, смежнобегущим столбом; пересекая столбы разговоров, незнакомец мой ловил их отрывки; из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения. Заплеталась невская сплетня.

— «Вы знаете?» — пронеслось где-то справа и погасло в набегающем грохоте.

И потом вынырнуло опять:

— «Собираются...»

— «Что?»

— «Бросить...»

Зашушукало сзади.

Незнакомец с черными усиками, обернувшись, увидел: котелок, трость, пальто; уши, усы и нос...

— «В кого же?»

— «Кого, кого», — перешুকнулось издали; и вот темная пара сказала.

— «Абл...»

И сказавши, пара прошла.

— «Аблеухова?»

— «В Аблеухова?!»

Но пара dokonчила где-то там...

— «Абл... ейка меня кк...исла...тою... попробуй...»

И пара икала.

Но незнакомец стоял, потрясенный всем слышанным:

— «Собираются?...»

— «Бросить?...»

— «В Абл...»

.....

.....
А кругом зашепталося:

— «Поскорее...»

И потом опять сзади:

— «Пора же...»

И пропавши за перекрестком, напало из нового перекрестка:

— «Пора... право...»

Незнакомец услышал не «право», а «прово-»; и закончил сам:

— «Прово-кация?!»

Провокация загуляла по Невскому. Провокация изменила смысл всех слышанных слов: провокацией наделила она невинное *право*; а «обл... ейка» она превратила в черт знает что:

— «В Абл...»

И незнакомец подумал:

— «В Аблеухова».

Просто он от себя присоединил предлог *ве, ер*: присоединением буквы *ве* и *твердого знака* изменился невинный словесный обрывок в обрывок ужасного содержания; и что главное: присоединил предлог незнакомец.

Провокация, стало быть, в нем сидела самом; а он от нее убежал: убежал — от себя. Он был своей собственной тенью.

О, русские люди, русские люди!

Толпы зыбких теней не пускайте вы с острова: вкравчиво тени те проникают в телесное обиталище ваше; проникают отсюда они в закоулки души: вы становитесь тенями клубообразно летящих туманов: те туманы летят искони из-за края земного: из свинцовых пространств волнами кипящего Балта; в туман искони там усталились громовые отверстия пушек.

В двенадцать часов, по традиции, глухой пушечный выстрел торжественно огласил Санкт-Петербург, столицу Российской Империи: все туманы разорвались и все тени рассеялись.

Лишь тень моя — неуловимый молодой человек — не сотрясся и не расплылся от выстрела, беспрепятственно совершая свой пробег до Невы. Вдруг чуткое ухо моего незнакомца услышало за спиною восторженный шепот:

- «Неуловимый!..»
- «Смотрите — Неуловимый!..»
- «Какая смелость!..»

И когда, уличенный, повернулся он своим островным лицом, то увидел в упор на себя устремленные глазки двух бедно одетых курсисточек...

Да вы помолчите!..

- «БЫбы... быбы...»

Так громыхал мужчина за столиком: мужчина громадных размеров; кусок желтой семги он запихивал в рот и, давась, выкрикивал непонятности. Кажется, он выкрикивал:

«Вы-бы...»

Но слышалось:

- «БЫ-бы...»

И компания тощих пиджачников начинала визжать:

- «А-а́хха-ха, а́ха-ха!..»

.....

Петербургская улица осенью пронизает весь организм: леденит костный мозг и щекочет дрогнувший позвоночник; но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, петербургская улица в жилах течет лихорадкой. Этой улицы свойство испытывал сейчас незнакомец, войдя в грязненькую переднюю, набитую туго: черными, синими, серыми, желтыми *пóльтами*, залихватскими, вислоухими, кургузыми шапками и всевозможной калошей. Обдавала теплая сырость; в воздухе повисал белеющий пар: пар блинного запаха.

Получив обжигающий ладонь номерок от верхнего платья, разночинец с парюю усиков наконец вошел в зал...

- «А-а-а...»

Оглушили его сперва голоса.

.....

30 — «Ра-аа-ков... ааа... áх-ха-ха...»

— «Видите, видите, видите...»

— «Не говорите...»

— «Ме-емме...»

— «И водки...»

— «Да помилуйте... да подите... Да как бы не так...»

.....

Все то бросилось ему в лоб; за спиною же, с Невского, за ним вдогонку бежало:

— «Пора... право...»

— «Что право?»

— «Кация — акация — кассация...»

— «Бл...»

— «И водки...»

.....

Ресторанное помещение состояло из грязненькой комнатки; пол натирался мастикою; стены были расписаны рукой маляра, изображая там обломки шведской флотилии, с высоты которых в пространство рукой указывал Петр; и летели оттуда пространства синькою белогривых валов; в голове незнакомца же полетела карета, окруженная роем...

— «Пора...»

— «Собираются бросить...»

— «В Абл...»

— «Прав...»

Ах, праздные мысли!..

На стене красовался зеленый кудреватый шпинат, рисовавший зигзагами *плезир*ы петергофской природы с пространствами, облаками и с сахарным куличом в виде стильного павильончика.

.....

— «Вам с пикончиком?»

Одутловатый хозяин из-за водочной стоечки обращался к нашему незнакомцу.

— «Нет, без пикону мне».

А сам думал: почему был испуганный взгляд — за каретным стеклом: выпучились, окаменели и потом закрылись глаза; мертвая, бритая голова прокачалась и скры-

лась; из руки — черной замшевой — его по спине не огрел и злой бич циркуляра; черная замшевая рука протряслась там безвластно; была она не рука, а... *ручоночка*...

Он глядел: на прилавке сохла закуска, прокисали все какие-то вялые листики под стеклянными колпаками с грудою третьеводнишних перепрелых котлеток.

— «Еще рюмку...»

.....

Там вдали посиживал праздно потеющий муж с преогромною кучерской бородою, в синей куртке, в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Праздно потеющий муж опрокидывал рюмочки; праздно потеющий муж подзывал вихрастого полового:

— «Чего извоетс?..»

— «Чаво бы нибудь...»

— «Дыньки-с?»

— «К шуту: мыло с сахаром твоя дынька...»

— «Бананчика-с?»

— «Неприличнава сорта фрухт...»

— «Астраханского винограду-с?»

.....

Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно блистающий яд, которого действие напоминает действие улицы: пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно... на один только миг.

И сознание незнакомца на миг прояснилось: и он вспомнил: безработные голодали там; безработные там просили его; и он обещал им; и взял от них — да? Где узелочек? Вот он, вот — рядом, тут... Взял от них узелочек.

В самом деле: та невская встреча повышибла память.

.....

— «Арбузика-с?»

— «К шуту арбузик: только хруст на зубах; а во рту — хоть бы что...»

32 — «Ну так водочки...»

Но бородатый мужчина вдруг выпалил:

— «Мне вот чего: раков...»

.....

Незнакомец с черными усиками уселся за столик, поджидать ту особу, которая...

— «Не желаете ль рюмочку?»

Праздно потеющий бородач весело подмигнул.

— «Благодарствуйте...»

— «Отчего же-с?»

— «Да пил я...»

— «Выпили бы и еще: в маём кумпанействе...»

Незнакомец мой что-то сообразил: подозрительно поглядел он на бородача, ухватился за мокренький узелочек, ухватился за оборванный листик (для газетного чтения); и им, будто бы невзначай, прикрыл узелочек.

— «Тульские будете?»

Незнакомец с неудовольствием оторвался от мысли и сказал с достаточной грубостью — сказал фистулою:

— «И вовсе не тульский...»

— «Аткелева ж?...»

— «Вам зачем?»

— «Так...»

— «Ну: из Москвы...»

И плечами пожавши, сердито он отвернулся.

.....

И он думал: нет, он не думал — думы думались сами, расширяясь и открывая картину: брезенты, канаты, селетки; и набитые чем-то кули: неизмеримость кулей; меж кулями в черную кожу одетый рабочий синеватой рукой себе на спину взваливал куль, выделяясь отчетливо на тумане, на летящих водных поверхностях; и куль глухо упал: со спины в нагруженную балками барку; за кулем — куль; рабочий же (знакомый рабочий) стоял над кулями и вытаскивал трубочку с пренелепо на ветре плясавшим одежды крылом.

.....

— «По камерческой части?»

(Ах ты, Господи!)

— «Нет: просто — так...»

И сам сказал себе:

— «Сыщик...»

— «Вот оно: а мы — в кучерах...»

.....

— «Шурин та мой у Кистинтина Кистинтиновича кучером...»

— «Ну и что ж?»

— «Да что ж: ничаво — здесь свай...»

Ясное дело, что — сыщик: поскорее бы приходила *особа*.

Бородач между тем горемычно задумался над тарелкою несъеденных раков, крестя рот и протяжно зевая:

— «О, Господи, Господи!..»

.....

О чем были думы? Васильевские? Кули и рабочий? Да, конечно: жизнь дорожает, рабочему нечего есть.

Почему? Потому что: *черным мостом туда вонзается Петербург*; мостом и проспектными стрелами, — чтоб под кучами каменных гробов задавить бедноту; Петербург ненавидит он; над полками проклятыми зданий, восстающими с того берега из волны облаков, — кто-то маленький воспарял из хаоса и плавал там черною точкою: все визжало оттуда и плакало:

— «Острова раздавить!..»

Он теперь только понял, что было на Невском Проспекте, чье зеленое ухо на него поглядело в расстоянии четырех вершков — за каретным стеклом; маленький там дрожащий смертёныш тою самою был летучею мышью, которая, воспаря, — мучительно, грозно и холодно, угрожала, визжала...

Вдруг —...

Но о вдруг мы — впоследствии.

Письменный стол там стоял

Аполлон Аполлонович прицеливался к текущему деловому дню; во мгновение ока отчетливо пред ним восставали: доклады вчерашнего дня; отчетливо у себя на

34 столе он представил сложенные бумаги, порядок их и на этих бумагах им сделанные пометки, форму букв тех пометок, карандаш, которым с небрежностью на поля наносились: синее «*дать ходъ*» с хвостиком твердого знака, красное «*справка*» с росчерком на «*а*».

В краткий миг от департаментской лестницы до дверей кабинета Аполлон Аполлонович волею перемещал центр сознания; всякая мозговая игра отступала на край поля зрения, как вон те белесоватые разводы на белом фоне обой: кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр того поля, как вот только что в центр этот упавший портрет.

А — портрет? То есть: —

И нет его — и Русь оставил он...

Кто он? Сенатор? Аполлон Аполлонович Аблеухов? Да нет же: Вячеслав Константинович... А он, Аполлон Аполлонович?

И мнится — очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый...

Очередь — очередь: по очереди —

И над землей сошлись новы тучи
И ураган их...

Праздная мозговая игра!

Кучка бумаг выскочила на поверхность: Аполлон Аполлонович, прицелившись к текущему деловому дню, обратился к чиновнику:

— «Потрудитесь, Герман Германович, приготовить мне дело — то самое, как его...»

— «Дело дьякона Зракова с приложением вещественных доказательств в виде клока бороды?»

— «Нет, не это...»

— «Помещика Пузова, за номером?..»

— «Нет: дело об Ухтомских Ухабах...»

Только что он хотел открыть дверь, ведущую в кабинет, как он вспомнил (он было и вовсе забыл): да, да —

глаза: расширились, удивились, сбесились — глаза разночинца... И зачем, зачем был зигзаг руки?.. Пренеприятный. И разночинца он как будто бы видел — где-то, когда-то: может быть, нигде, никогда...

Аполлон Аполлонович открыл дверь кабинета.

Письменный стол стоял на своем месте с кучкою деловых бумаг: в углу камин растрещался поленьями; собираясь погрузиться в работу, Аполлон Аполлонович грел у камина изящные руки, а мозговая игра, ограничивая поле сенаторского зрения, продолжала там воздвигать свои туманные плоскости.

Разночинца он видел

— «Николай Аполлонович...»

Тут Аполлон Аполлонович...

— «Нет-с: позвольте».

— «?..»

— «Что за чертовщина?»

Аполлон Аполлонович остановился у двери, потому что — как же иначе?

Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений: мозговую игру Аполлон Аполлонович счел бы разве обоями комнаты, в чьих пределах созревали проекты; Аполлон Аполлонович к произвольности мысленных сочетаний относился, как к плоскости: плоскость эта, однако, порой раздвигалась, пропускала в центр умственной жизни за сюрпризом (как, например, вот сейчас).

Аполлон Аполлонович вспомнил: разночинца однажды он видел.

Разночинца однажды он видел — представьте себе — у себя на дому.

Помнит: как-то спускался он с лестницы, отправляясь на Выход; на лестнице Николай Аполлонович, перегнувшийся чрез перила, с кем-то весело разговаривал: о знакомствах Николая Аполлоновича государственный человек не считал себя вправе осведомляться; чувство такта естественно тогда помешало ему спросить напрямик:

36 — «А скажи-ка мне, Коленька, кто такое это тебя посещает, голубчик мой?»

Николай Аполлонович опустил бы глаза:

— «Да так себе, папаша: меня посещают...»

Разговор и прервался бы.

Оттого-то вот Аполлон Аполлонович не заинтересовался нисколько и личностью разночинца, там глядевшего из передней в своем темном пальто; у незнакомца были те самые черные усики и те самые поразительные глаза (вы такие б точно глаза встретили ночью в московской часовне Великомученика Пантелеймона, что у Никольских ворот: — часовня прославлена исцелением бесноватых; вы такие бы точно глаза встретили б на портрете, приложенном к биографии великого человека; и далее: в невропатической клинике и даже психиатрической).

Глаза и тогда: расширились, заиграли, блеснули; значит: то уже было когда-то, и, может быть, то повторится.

— «Обо всем — так-с, так-с...»

— «Надо будет...»

— «Навести точнейшую справку...»

Свои точнейшие справки получал государственный человек не прямым, а окольным путем.

.....

Аполлон Аполлонович посмотрел за дверь кабинета: письменные столы, письменные столы! Кучи дел! К делам склоненные головы! Скрипы перьев! Шорохи переворачиваемых листов! Какое кипучее и могучее бумажное производство!

Аполлон Аполлонович успокоился и погрузился в работу.

Странные свойства

Мозговая игра носителя бриллиантовых знаков отличалась странными, весьма странными, чрезвычайно странными свойствами: черепная коробочка его становилась чревом мысленных образов, воплощавшихся тотчас же в этот прозрачный мир.

Приняв во внимание это странное, весьма 37
странное, чрезвычайно странное обстоятельство,
лучше бы Аполлон Аполлонович не откидывал от себя ни
одной праздной мысли, продолжая и праздные мысли
носить в своей голове: ибо каждая праздная мысль раз-
вивалась упорно в пространственно-временной образ,
продолжая свои — теперь уже бесконтрольные — дей-
ствия вне сенаторской головы.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как
Зевс: из его головы вытекали боги, богини и гении. Мы
уже видели: один такой гений (незнакомец с черными
усиками), возникая как образ, *забытийствовал* далее
прямо уже в желтоватых невских пространствах, утвер-
ждая, что вышел он — из них именно: не из сенатор-
ской головы; праздные мысли оказались и у этого не-
знакомца; и те праздные мысли обладали все теми же
свойствами.

Убегали и упрочнялись.

И одна такая бежавшая мысль незнакомца была мыс-
лью о том, что он, незнакомец, существует действитель-
но; эта мысль с Невского забежала обратно в сенатор-
ский мозг и там упрочила сознание, будто самое бытие
незнакомца в голове этой — иллюзорное бытие.

Так круг замкнулся.

Аполлон Аполлонович был в известном смысле как
Зевс: едва из его головы родилась вооруженная узелком
Незнакомец-Паллада, как полезла оттуда другая, такая
же точно Паллада.

Палладою этою был сенаторский дом.

Каменная громада убежала из мозга; и вот дом откры-
вает гостеприимную дверь — нам.

.....

Лакей поднимался по лестнице; страдал он одыш-
кою, не в нем теперь дело, а в... лестнице: прекрасная
лестница! На ней же — ступени: мягкие, как мозговые
извилины. Но не успеет автор читателю описать ту са-
мую лестницу, по которой не раз поднимались мини-
стры (он ее опишет потом), потому что — лакей уже
в зале...

38 И опять-таки — зала: прекрасная! Окна и стены: стены немного холодные... Но лакей был в гостинной (гостиную видели мы).

Мы окинули прекрасное обиталище, руководствуясь общим признаком, коим сенатор привык наделять все предметы.

Так: —

— в кои веки попав на цветущее лоно природы, Аполлон Аполлонович видел то же и здесь, что и мы; то есть: видел он — цветущее лоно природы; но для нас это лоно распадалось мгновенно на признаки: на фиалки, на лютики, одуванчики и гвоздики; но сенатор отдельности эти возводил вновь к единству. Мы сказали б конечно:

— «Вот лютик!»

— «Вот незабудочка...»

Аполлон Аполлонович говорил и просто, и кратко:

— «Цветы...»

— «Цветок...»

Между нами будь сказано: Аполлон Аполлонович все цветы одинаково почему-то считал колокольчиками... —

С лаконической краткостью охарактеризовал бы он и свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты и кубы), из прорезанных окон, паркетов, стульев, столов; далее — начинались детали...

Лакей вступил в коридор...

И тут не мешает нам вспомнить: промелькнувшие мимо (картины, рояль, зеркала, перламутр, инкрустация столиков), — словом, все, промелькнувшее мимо, не могло иметь пространственной формы: все то было одним раздражением мозговой оболочки, если только не было хроническим недомоганием... может быть, мозжечка.

Строилась иллюзия комнаты; и потом разлеталась бесследно, воздвигая за гранью сознания свои туманные плоскости; и когда захлопнул лакей за собой гостинные тяжелые двери, когда он стучал сапогами по гулкому коридорчику, это только стучало в висках: Аполлон Аполлонович страдал геморроидальными приливами крови.

За захлопнутой дверью не оказалось гостиной: оказались... мозговые пространства: извилины, серое и белое вещество, шишковидная железа; а тяжелые стены, состоявшие из искристых брызг (обусловленных приливом), — голые стены были только свинцовым и болевым ощущением: затылочной, лобной, височных и теменных костей, принадлежащих почтенному черепу.

Дом — каменная громада — не домом был; каменная громада была Сенаторской Головой: Аполлон Аполлонович сидел за столом, над делами, удрученный мигренью, с ощущением, будто его голова в шесть раз больше, чем следует, и в двенадцать раз тяжелее, чем следует.

Странные, весьма странные, чрезвычайно странные свойства!

Наша роль

Петербургские улицы обладают несомненным свойством: превращают в тени прохожих; тени же петербургские улицы превращают в людей.

Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем.

Он, возникши, как мысль, в сенаторской голове, почему-то связался и с собственным сенаторским домом; там всплыл он в памяти; более же всего упрочился он на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем скромном рассказе.

От перекрестка до ресторанчика на Миллионной описали мы путь незнакомца; описали мы, далее, самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось; вдруг с незнакомцем случилось там что-то; какое-то неприятное ощущение посетило его.

Обследуем теперь его душу; но прежде обследуем ресторанчик; даже окрестности ресторанчика; на то есть у нас основание; ведь если мы, автор, с педантичною точностью отмечаем путь первого встречного, то читатель нам верит: поступок наш оправдается в будущем. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы

40 лишь желание сенатора Аплеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно бы следовал по стопам незнакомца; славный сенатор и сам бы взялся за телефонную трубку, чтоб посредством ее передать, куда следует, свою мысль; к счастью для себя, он не знал обиталища незнакомца (а мы же обиталище знаем). Мы идем навстречу сенатору; и пока легкомысленный агент бездействует в своем отделении, этим агентом будем мы.

Позвольте, позвольте...

Не попали ли мы сами впросак? Ну, какой в самом деле мы агент? Агент — есть. И не дремлет он, ей-богу, не дремлет. Роль наша оказалась праздною ролью.

Когда незнакомец исчез в дверях ресторанички и нас охватило желание туда воспоследовать тоже, мы обернулись и увидели два силуэта, медленно пересекавших туман; один из двух силуэтов был довольно толст и высок, явственно выделяясь сложением; но лица силуэта мы не могли разобрать (силуэты лиц не имеют); все же мы разглядели: новый, шелковый, распушенный зонт, ослепительно блестящие калоши да полукотиковую шапку с ушниками.

Паршивенькая фигурка низкорослого господинчика составляла главное содержание силуэта второго; лицо силуэта было достаточно видно: но лица также мы не успели увидеть, ибо мы удивились огромности его бородавки: так лицевую субстанцию заслонила от нас нахальная акциденция (как подобает ей действовать в этом мире теней).

Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару, пред ресторанною дверью та темная пара остановилась и сказала несколько слов на человеческом языке.

— «Гм?»

— «Здесь...»

— «Так я и думал: меры приняты; это на случай, если бы вы его мне не показали у моста».

— «А какие вы приняли меры?..»

— «Да я там, в рестораничке, посадил человека».

— «Ах, напрасно вы принимаете меры! Я же вам говорил, говорил: сто раз говорил...»

— «Простите, это я из усердия...»

— «Вы бы прежде посоветовались со мной...»

Ваши меры прекрасны...»

— «Сами же вы говорите...»

— «Да, но ваши прекрасные меры...»

— «Гм...»

— «Что?.. Ваши прекрасные меры — перепутают все...»

.....

Пара прошла пять шагов, остановилась; и опять сказала несколько слов на человеческом языке.

— «Гм!.. Придется мне... Гм!.. Пожелать теперь вам успеха...»

— «Ну какое же может быть в том сомнение: предприятие поставлено, как часовой механизм; если б я теперь не стоял за всем этим делом, то, поверьте мне дружески: дело — в шляпе».

— «Гм?»

— «Что такое вы говорите?»

— «Проклятый насморк».

— «Я же о деле...»

— «Гм...»

— «Души настроены, как инструменты: и составляют концерт — что такое вы говорите? Дирижеру из-за кулис остается взмахивать палочкой. Сенатору Аблеухову издать циркуляр, Неуловимому же предстоит...»

— «Проклятый насморк...»

— «Николаю Аполлоновичу предстоит... Словом: концертное трио, где Россия — партер. Вы меня понимаете? Понимаете? Что же вы все молчите?»

— «Послушайте: брали бы жалованье...»

.....

— «Нет, вы меня не поймете!»

— «Пойму: гм-гм-гм — положительно не хватает платков».

— «Что такое?»

— «Да насморк же!.. А зверь — гм-гм-гм — не уйдет?»

— «Ну, куда ему...»

— «А то брали бы жалованье...»

42 — «Жалованье! Я служу не за жалованье: я артист, понимаете ли, — артист!»

— «Своего рода...»

— «Что такое?»

— «Ничего: лечусь сальной свечкой».

Фигурка повынимала иссморканный носовой платок и опять чмыкала носом.

— «Я же о деле! Так-таки передайте им, что Николай Аполлонович обещание дал...»

— «Сальная свечка, прекрасное средство от насморка...»

— «Расскажите им все, что вы слышали от меня: дело это поставлено...»

— «Вечером намажешь ноздрю, утром — как рукой сняло...»

— «Дело поставлено, опять-таки говорю, как часов...»

— «Нос очищен, дышишь свободно...»

— «Как часовой механизм!..»

— «А?»

— «Часовой, черт возьми, механизм».

— «Заложило ухо: не слышу».

— «Ча-со-вой ме-ха-...»

— «Апчхи!..»

Под бородавкою загулял вновь платочек: две тени медленно утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиц.

И вошла в ресторанчик.

И при том лицо лóснилось

Читатель!

«Вдруг» знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «вдруг»? Заговори с тобою о «вдруг» посторонний, ты скажешь, наверное:

— «Милостивый государь, извините меня: вы, должно быть, отъявленный декадент».

И меня, наверное, уличишь в декадентстве.

43

Ты и сейчас предо мною, как страус; но тщетно ты прячешься — ты прекрасно меня понимаешь; понимаешь ты и неотвратимое «вдруг».

Слушай же...

Твое «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате; в первом случае ты обеспокоен ужасно: в спине развивается неприятное ощущение, будто в спину твою, как в открытую дверь, повалилась ватага невидимых; ты обертываешься и просишь хозяйку:

— «Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; у меня особое нервное ощущение: я спиною терпеть не могу сидеть к открытым дверям».

Ты смеешься, она смеется.

Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим:

— «А мы только что вас поминали...»

И ты отвечаешь:

— «Это, верно, сердце сердцу подало весть».

Все смеются. Ты тоже смеешься: будто не было тут «вдруг».

Иногда же чуждое «вдруг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит.

Твое «вдруг» кормится твоею мозговою игрою; гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобою, то «вдруг», обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать, вызывая у постороннего наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора черным, взору невидимым облаком: это есть косматое «вдруг», верный твой домовый (знал я несчастного, которого *черное облако* чуть ли не видимо взор: он был литератором...).

.....

44 Мы оставили в ресторанчике незнакомца. *Вдруг* незнакомец обернулся стремительно; ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. Но когда обернулся он, за спиною не было никого: мрачно как-то зияла дверь ресторанныго входа; и оттуда, из двери, повалило *невидимое*.

Тут он сообразил: по лестнице поднималась, конечно, им поджидаемая *особа*; вот-вот войдет; но она не входила; в дверях не было никого.

А когда незнакомец мой отвернулся от двери, то в дверь вошел тотчас же неприятный толстяк; и, идя к незнакомцу, поскрипывал он половицею; желтоватое, бритое, чуть-чуть наклоненное набок лицо плавно плавало в своем собственном втором подбородке; и притом лицо лóснилось.

Тут незнакомец мой обернулся и вздрогнул: *особа* дружески помахала ему полукотиковой шапкой с наушниками:

— «Александр Иванович...»

— «Липпанченко!»

— «Я — самый...»

— «Липпанченко, вы меня заставляете ждать».

Шейный воротничок у особы был повязан галстуком — атласно-красным, кричащим и заколотым крупным стразом, полосатая темно-желтая пара облекала особу; а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак.

Заняв место за столиком незнакомца, особа довольно воскликнула:

— «Кофейник... И — послушайте — коньяку: там бутылка моя у меня — на имя записана».

И кругом раздавалось:

— «Ты-то пил со мной?»

— «Пил...»

— «Ел?...»

— «Ел...»

— «И какая же ты, с позволения сказать, свинья...»

.....

— «Осторожнее», — вскрикнул мой незнакомец: неприятный толстяк, названный незнакомцем Липпанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения: лист газетного чтения накрывал узелочек.

— «Что такое?» — Тут Липпанченко, снявши лист газетного чтения, увидел узелок: и губы Липпанченко дрогнули.

— «Это... это... и есть?»

— «Да: *это* — и есть».

Губы Липпанченко продолжали дрожать: губы Липпанченко напоминали кусочки на ломтики нарезанной семги — не желто-красной, а маслянистой и желтой (семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе).

— «Как вы, Александр Иванович, скажу я вам, неосторожны». — Липпанченко протянул к узелку свои дубоватые пальцы; и блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших, с обгрызенными ногтями (на ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос; внимательный наблюдатель мог вывести заключение: особа-то красилась).

— «Ведь еще лишь движенье (положи я только локоть), ведь могла бы быть... катастрофа...»

И с особою бережливостью переложила *особа* узелочек на стул.

— «Ну да, было бы с нами с обоими...», — неприятно сострил незнакомец. — «Были бы оба мы...»

Видимо, он наслаждался смущением, *особы* которую — от себя скажем мы — ненавидел он.

— «Я, конечно, не за себя, а за...»

— «Конечно, уж вы не за себя, а за...» — особе поддакивал незнакомец.

.....

А кругом раздавалось:

— «Свиньей не ругайтесь...»

— «Да я не ругаюсь».

— «Нет, ругаетесь: попрекаете, что платили... Что ж такой, что платили; уплатили тогда, нынче плачу — я...»

46 — «Давай-ка, друг мой, я тебя за ефот твой поступок расцелую...»

— «За свинью не сердись: а я — ем, ем...»

— «Уж ешьте вы, ешьте: так-то правильной...»

.....

— «Вот-с Александр Иванович, вот-с что, родной мой, этот вы узелок», — Липпанченко покосился, — «снесете немедленно к Николаю Аполлоновичу».

— «Аблеухову?»

— «Да: к нему — на хранение».

— «Но позвольте: на хранении узелок может лежать у меня...»

— «Неудобно: вас могут схватить; там же будет в сохранности. Как-никак, дом сенатора Аблеухова... Кстати: слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка?..»

Тут толстяк, наклонившись, зашептал что-то на ухо моему незнакомцу:

— «Шу-шу-шу...»

— «Аблеухова?»

— «Шу...»

— «Аблеухову?..»

— «Шу-шу-шу...»

— «С Аблеуховым?..»

— «Да, не с сенатором, а с сенаторским сыном: коли будете у него, так уж, сделайте милость, ему передайте заодно с узелком — это вот письмецо: тут вот...»

Прямо к лицу незнакомца приваливалась Липпанченки узколобая голова; в орбитах затаились пытливо сверлящие глазки; чуть вздрагивала губа и посасывала воздух. Незнакомец с черными усиками прислушивался к шептанию толстого господина, стараясь расслышать внимательно содержание шепота, заглушаемого ресторанными голосами; ресторанные голоса покрывали шепот Липпанченко; что-то чуть шелестело из отвратительных губок (будто шелест многих сот муравьиных членистых лапок над раскопанным муравейником), и казалось, что шепот тот имеет страшное содержание,

будто шепчутся здесь о мирах и планетных системах; но стоило вслушаться в шепот, как страшное содержание шепота оказывалось содержанием будничным:

— «Письмецо передайте...»

— «Как, разве Николай Аполлонович находится в особых сношениях?»

Особа прищурила глазки и прищелкнула язычком.

— «Я же думал, что все сношения с ним — через меня...»

— «А вот видите — нет...»

.....

Кругом раздавалось:

— «Ешь, ешь, друг...»

— «Отхвати-ка мне говяжьего студню».

— «В пище истина...»

— «Что́ есть истина?»

— «Истина — естина...»

— «Знаю сам...»

— «Коли знаешь, так ладно: подставляй тарелку и ешь...»

.....

Темно-желтая пара Липпанченки напомнила незнакомцу темно-желтый цвет обой его обиталища на Васильевском Острове — цвет, с которым связалась бессонница и весенних, белых, и сентябрьских, мрачных, ночей; и, должно быть, та злая бессонница вдруг в памяти ему вызвала одно роковое лицо с узкими, монгольскими глазками; то лицо на него многократно глядело с куска его желтых обой. Исследуя днем это место, незнакомец усматривал лишь сырое пятно, по которому проползала мокрица. Чтоб отвлечь себя от воспоминаний об измучившей его галлюцинации, незнакомец мой закурил, неожиданно для себя став болтливым:

— «Прислушайтесь к шуму...»

— «Да, изрядно шумят».

— «Звук шума на “и”, но слышится “ы”...»

Липпанченко, осовелый, погрузился в какую-то думу.

48 — «В звуке “ы” слышится что-то тупое и склизкое... Или я ошибаюсь?..»

— «Нет, нет: нисколько», — не слушая, Липпанченко пробурчал и на миг оторвался от выкладок своей мысли...

— «Все слова на *еры* тривиальны до безобразия: не то “и”; “и-и-и” — голубой небосвод, мысль, кристалл; звук и-и-и вызывает во мне представление о загнутом клюве орлином; а слова на “*еры*” тривиальны; например: слово *рыба*; послушайте: *р-ы-ы-ы-ба*, то есть нечто с холодной кровью... И опять-таки *м-ы-ы-ло*: нечто склизкое; *глыбы* — бесформенное: *тыл* — место дебошей...»

Незнакомец мой прервал свою речь: Липпанченко сидел перед ним бесформенной *глыбою*; и *дым* от его папиросы осклизло обмыливал атмосферу: сидел Липпанченко в облаке; незнакомец мой на него посмотрел и подумал: «Тьфу, гадость — татарщина»... Перед ним сидело просто какое-то «Ы»...

.....

С соседнего столика кто-то, икая, воскликнул:

— «Ерыкало ты, ерыкало!..»

.....

— «Извините, Липпанченко: вы не монгол?»

— «Почему такой странный вопрос?..»

— «Так, мне показалось...»

— «Во всех русских ведь течет монгольская кровь...»

.....

А к соседнему столику привалило толстое пузо; и с соседнего столика поднялось пузо навстречу...

— «Быкобойцу Анофриеву!..»

— «Почтение!»

— «Быкобойцу городских боен... Присаживайтесь...»

— «Половой!..»

— «Ну, как у вас?..»

— «Половой: поставь-ка “Сон Негра”...»

И трубы машины мычали во здравие быкобойца, как бык под ножом быкобойца.

Какой такой костюмер?

Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат: спальни, рабочего кабинета, приемной.

Спальня: спальню огромная занимала кровать; красное, атласное одеяло ее покрывало — с кружевными накидками на пышно взбитых подушках.

Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, перед которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот, обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями: «Кант».

Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; и прекрасен был бюст... разумеется, Канта же.

Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиною ж года перед тем пробуждался он ранее: пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофея.

Два с половиною года назад Николай Аполлонович не расхаживал по дому в бухарском халате; ермолка не украшала его восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате: ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собою пресекались. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель.

И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович.

Встречи папаши с сынком происходили лишь за обедом; да и то: на краткое время; между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские тупельки, опушенные мехом; на голове же появилась ермолка.

50 И блестящий молодой человек превратился в восточного человека.

Николай Аполлонович только что получил письмо; письмо с незнакомым почерком: какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью: «Пламенеющая душа». Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки и бормоча сам с собою:

- «А-а... Где же очки?..»
- «Черт возьми...»
- «Потерял?»
- «Скажите, пожалуйста».
- «А?..»

Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.

Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаши; так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным росточком, беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица; когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лица, подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма: благородство в лице выявлял заметным образом лоб — точеный, с надутыми жилками: быстрая пульсация этих жилок явно отмечала на лбу преждевременный склероз.

Синеватые жилки совпали с синевою вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно-василькового цвета (лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков).

Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке; но сними ее он, — предстала бы шапка белолыньных волос, смягчая холодную эту, почти суровую внешность с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот редкий для взрослого оттенок

Бросив небрежно письмо, Николай Аполлонович сел пред раскрытою книгою; и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним (какой-то трактат). Вспомнилась и глава, и страница: припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя; ходы изгибные мыслей и свои пометки — карандашом на полях; лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким: одушевилось мыслью.

Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр — в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени.

Этот центр — мозаключал.

Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятных, называемых миром и жизнью, и едва Николаю Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича; и в невнятности этой позорно увязло самосознание: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.

Николай Аполлонович оторвался от книги: к нему постучали:

— «Ну?..»

— «Что такое?»

Из-за двери раздался глухой и почтительный голос.

— «Там-с...»

— «Вас спрашивают-с...»

Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирает на ключ свою рабочую комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических

52 построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им *вселенной*; а сознание Николая Аполлоновича, отделяясь от тела, непосредственно соединялось с электрической лампочкой письменного стола, называемой «солнцем сознания». Запершись на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во «вселенную», то есть в комнату; голова же этого *тела* смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром.

И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.

Вот почему он любил запираяться: голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая *вселенную* в комнату, а *сознание* — в лампу, разбивал в Николае Аполлоновиче прихотливый строй мыслей. Так и теперь.

— «Что такое?»

— «Не слышу...»

Но из дали пространств отвечивал голос лакея:

— «Там пришел человек».

.....

Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:

— «А, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм...»

Какой такой костюмер?

Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул:

— «Это — вы?..»

— «Костюмер?»

— «От костюмера?»

— «Костюмер прислал мне костюм?»

И опять повторим от себя: какой такой костюмер?

.....

В комнате Николая Аполлоновича появилась кардонка, Николай Аполлонович запер двери на ключ; суетливо он разрезал бечевку; и приподнял он крышку; далее, вы-

ташил из кардонки: сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой выташил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.

Скоро он стоял перед зеркалом — весь атласный и красный, приподняв над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшись, упало на плечи, образуя справа и слева по причудливому, фантастическому крылу; и из черного кружева крыльев из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно-странно — то, само: лицо — его, самого; вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, бледный, тоскующий — демон пространства.

После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.

Мокрая осень

Мокрая осень летела над Петербургом; и невесело так мерцал сентябрьский денек.

Зеленоватым роем проносились там облачные клоки; они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозою. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты; в зеленоватый рой убежал шпич... с петербургской стороны.

Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти высоко встала от труб пароходных; и хвостом упала в Неву.

И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую, позеленевшую медь.

54 И на этом мрачнейшем фоне хвостатой и виснувшей копоты над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бактериями мутную невискую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом.

У большого черного моста остановился он.

Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра; Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся и увидел, что никого нет; приподнял ногу; и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами, да... так и остался: с приподнятою ногой; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но... Николай Аполлонович продолжал стоять с приподнятою ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлонович опустил свою ногу.

Вот тогда-то созрел у него необдуманый план: дать ужасное обещание одной легкомысленной партии.

Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с заплясавшим по ветру длинным, шинельным крылом; с таким видом свернул он на Невский; начинало смеркаться; кое-где в витрине поблескивал огонек.

— «Красавец», — постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича...

— «Античная маска...»

— «Аполлон Бельведерский».

— «Красавец...»

Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем.

- «Эта бледность лица...»
- «Этот мраморный профиль...»
- «Божественно...»

Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили друг другу.

Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:

- «Уродище...»

Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва, — там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера; путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:

- «Сергей Сергеевич?»

Офицер (высокий блондин с остроконечной бородкою) обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами. На мгновенье будто какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он колебался: *узнать* ему или *нет*.

- «А... здравствуйте... Вы куда?»

— «Мне на Пантелеймоновскую», — солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

- «Пойдемте, пожалуй...»

«Вы куда?» — вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.

- «Я — домой».

- «Стало быть, по пути».

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных львиных морд; каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня.

Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом: о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Ни-

56 колая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии (офицер заведовал, где-то там, провиантом).

Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.

Так проговорили они всю дорогу.

И вот уже — Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание; вон за зданием — дом; и вон — окна... Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:

— «Ну, прощайте... вам дальше?..»

Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало: что-то спросить собирался он; и — нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой Дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней — чувственного влечения, — воспоминания эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и — пока об этом ни слова!

То же светлое, пятиколонное здание с полосой орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах.

.....

Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там — изумруды. Мгновение: там — рубины; изумруды же — здесь, здесь и здесь.

Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «*Кофейня*», «*Фарс*», «*Бриллианты Тэта*», «*Часы Омега*». Зеленоватая днем, а теперь

лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, — и вдаль поплетешься: ты гееннское место постарайся обойти.

Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, — и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.

Никакой Геенны и не было б.

.....

Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау; синего кирасира, графа Авена и *ее* — *ее* голос... Вот, сидит Сергей Сергеич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:

— «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым...»

Аполлон Аполлонович вспомнил

Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку. Говорили чиновники:

58 — «Наш Нетопырь (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к не-презрению вовсе: от коллежского регистратора к статскому...»

И на это заметили:

— «Он берет всего одну ноту: презрения...»

Тут вмешались заступники:

— «Господа, оставьте, пожалуйста: это — от геморроя...»

И все согласились.

Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.

Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.

И головки там в окнах пропали.

.....

Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила.

Здесь был он последней инстанцией — донесений, прошений и телеграмм.

Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру — к сознанию.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно,

концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы.

И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.

Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существования души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.

В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чресполосицу обывательской жизни.

Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).

Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем.

Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были — все до единого — обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.

Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!.. Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключе-

60 нию, что собственный его сын, Николай Аполлонович, — отъявленный негодяй.

.....
Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача.

Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь — в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна — в Испании; Вячеслава Константиновича — нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.

Собираясь выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.

Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.

И вот: он — робел.

А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденом подлетел к высокой особе, почтительно шелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:

— «Нет, нет!.. Сделайте, как я говорил... И знаешь ли», — сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:

— «Ти ли...»

Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли... ти ли...»

О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, — без галстука; остановленный дворцовым лакеем, он

пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстух.

Холодные пальцы

Аполлон Аполлонович Аблеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре, с каменным лицом, напоминающим пресс-папье, быстро выбежал из кареты и вбежал на ступени подъезда, на ходу снимая черную замшевую перчатку.

Быстро вошел он в переднюю. Цилиндр с осторожностью передан лакею. С тою же осторожностью отдались: пальто, портфель и кашне.

Аполлон Аполлонович в раздумье стоял пред лакеем; вдруг Аполлон Аполлонович обратился с вопросом:

— «Будьте любезны сказать: часто ли здесь бывает молодой человек — да: молодой человек?»

— «Молодой человек-с?»

Наступило неловкое молчание: Аполлон Аполлонович не умел иначе формулировать свою мысль. А лакей, конечно, не мог догадаться, о каком молодом человеке спрашивал барин.

— «Молодые люди бывают, вашество, редко-с...»

— «Ну, а... молодые люди с усиками?»

— «С усиками-с?»

— «С черными...»

— «С черными-с?»

— «Ну да, и... в пальто...»

— «Все приходят-с в пальто...»

— «Да, но с поднятым воротником...»

Что-то вдруг осенило швейцара.

— «А, так это вы про того, который...»

— «Ну да: про него...»

— «Был однажды такой-с... заходил к молодому барину: только они были уж давненько; как же-с... наведываются...»

— «Как так?»

— «Да как же-с!»

- 62 — «С усиками?»
— «Точно так-с!»
— «Черными?»
— «С черными усиками...»
— «И в пальто с поднятым воротником?»
— «Они самые-с...»

Аполлон Аполлонович постоял с минуту как вкопанный и вдруг: Аполлон Аполлонович прошел мимо.

Лестницу покрывал бархатный серый ковер; лестницу обрамляли, конечно, тяжелые стены; бархатный серый ковер покрывал стены те. На стенах разблистался орнамент из старинных оружий; а под ржаво-зеленым щитом блистала своим шишаком литовская шапка; искрилась крестообразная рукоять рыцарского меча; здесь ржавели мечи; там — тяжело склоненные алебарды; матово стены пестрила многокольчатая броня; и клонились — пистоль с шестопером.

Верх лестницы выводил к балюстраде; здесь с матовой подставки из белого алебаstra белая Ниобея поднимала горé алебастровые глаза.

Аполлон Аполлонович четко распахнул пред собою дверь, опираясь костлявой рукой о граненую ручку: по громадной зале, непомерно вытянутой в длину, раздавалась холодно поступь тяжелого шага.

Так бывает всегда

Над пустыми петербургскими улицами пролетали едва озаренные смутности; обрывки туч перегоняли друг друга.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, и мервенно проносилось по небу; фосфорическим блеском протуманилась высь; и от этого проблистали железные крыши и трубы. Протекали тут зеленые воды Мойки; по одной ее стороне то же высилось все трехэтажное здание о пяти своих белых колоннах; наверху были выступы. Там, на светлом фоне светлого здания, медленно проходил Ее Величества кирасир; у него была золотая, блиставшая каска.

И серебряный голубь над каской распростер свои крылья. 63

Николай Аполлонович, надушенный и выбритый, пробирался по Мойке, запахнувшись в меха; голова упала в шинель, а глаза как-то чудно светились; в душе — поднимались там трепеты без названья; что-то жуткое, сладкое пело там: словно в нем самом разлетелся на части буревой эолов мешок, и сыны нездешних порывов на свистящих бичах в странные, в непонятные страны угоняли жестоко.

Думал он: неужели и *это* — любовь? Вспомнил он: в одну туманную ночь, выбегая стремительно из того вон подъезда, он пустился бежать к чугунному петербургскому мосту, чтобы там, на мосту...

Вздрогнул он.

Пролетел снап огня: придворная, черная пролетела карета: пронесла мимо светлых впадин оконных *того самого* дома ярко-красные свои, будто кровью налитые, фонари; на струе черной мойской фонари проиграли и проблистали; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

Николай Аполлонович постоял перед домом задумчиво: колотилось сердце в груди; постоял, постоял — и неожиданно скрылся он в знакомом подъезде.

В прежние времена он сюда входил каждый вечер; а теперь здесь он два с лишним месяца не переступал порога; и переступил, будто вор, он — теперь. В прежние времена ему девушка в белом переднике дверь открывала радушно; говорила:

— «Здравствуйте, барин», — с лукавой улыбкою.

А теперь? Ему не выйдут навстречу; позвони он, та же девушка на него испуганно заморгает глазами и «здравствуйте, барин» не скажет; нет, звониться не станет он.

Для чего же он здесь?

Подъездная дверь перед ним распахнулась; и подъездная дверь звуком ударилась в спину; тьма объяла его; точно все за ним отвалилось (так, вероятно, бывает в первый миг после смерти, как с души в бездну тления рухнет храм тела); но о смерти теперь Николай Аполлонович не

64 подумал — смерть была далека; в темноте, видно, думал он о собственных жестах, потому что действия его в темноте приняли фантастический отпечаток; на холодной ступени уселся он у одной входной двери, опустив лицо в мех и слушая биение сердца; некая черная пустота начиналась у него за спиной; черная пустота была впереди.

Так Николай Аполлонович сидел в темноте.

.....

А пока он сидел, так же все открывалась Нева меж Александровской площадью и Миллионной; каменный перегиб Зимней Канавки показал плаксивый простор; Нева оттуда бросалась натиском мокрого ветра; вод ее замерцали беззвучно летящие плоскости, яростно отдавая в туман бледный блеск. Гладкие стены четырехэтажного дворцового бока, испещренного линиями, язвительно проблистали луной.

Никого, ничего.

Так же все канал выстроивал здесь в Неву холерную воду; перегнулся тот же и мостик; так же все выбегала на мостик еженощная женская тень, чтоб — низвергнуться в реку?.. Тень Лизы? Нет, не Лизы, а просто, так себе, — петербуржки; петербуржка выбегала сюда, не бросалась в Неву: пересекши Канавку, она убегала поспешно от какого-то желтого дома на Гагаринской набережной, под которым она каждый вечер стояла и долго глядела в окно.

Тихий плеск остался у нее за спиной: спереди ширилась площадь; бесконечные статуи, зеленоватые, бронзовые, пооткрывались отовсюду над темно-красными стенами; Геркулес с Посейдоном так же в ночь дозировали просторы; за Невой темная вставала громада — абрисами островов и домов; и бросала грустно янтарные очи в туман; и казалось, что — плачет; ряд береговых фонарей уронил огневые слезы в Неву; прожигалась поверхность ее закипевшими блеснами.

Выше — горестно простирали по небу клочкастые руки какие-то смутные очертания; рой за роем они восходили над невской волной, угоняясь к зениту; а когда они касались зенита, то, стремительно нападая, с неба

кидалось на них фосфорическое пятно. Только в одном, хаосом не тронутом месте, — там, где днем перекинулся тяжелокаменный мост, — бриллиантов огромные гнезда протуманились странно там.

Женская тень, уткнув лицо в муфточку, пробежала вдоль Мойки все к тому же подъезду, откуда она выбежала по вечерам и где теперь на холодной ступеньке, под дверью, сидел Николай Аполлонович; подъездная дверь перед ней отворилась; подъездная дверь за нею захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней отвалилось; черная дамочка помышляла в подъезде о таком все простом и земном; вот сейчас прикажет поставить она самоварчик; руку она уже протянула к звонку, и — тогда-то увидела: какое-то очертание, кажется, маска, поднялось перед ней со ступени.

А когда открылась дверь и подъездную темноту озарил на мгновение из двери сноп света, то восклицание перепуганной горничной подтвердило ей все, потому что в открытой двери сперва показался передник и перекраш-маленный чепчик; а потом отшатнулись от двери — и передник, и чепчик. В световой яркой вспышке открылась картина неопишуемой странности, и черное очертание дамочки бросилось в открытую дверь.

У нее ж за спиною, из мрака, восстал шелестящий, темно-багровый паяц с борогатою, трясущейся масочкой.

Было видно из мрака, как беззвучно и медленно с плеч, шуршащих атласом, повалили меха николаевки, как две красных руки томительно протянулись к двери. Тут, конечно, закрылась дверь, перерезав сноп света и кидая обратно подъездную лестницу в совершенную пустоту, темноту: переступая смертный порог, так обратно кидаем мы тело в потемневшую и только что светом сиявшую бездну.

.....

Через секунду на улицу выскочил Николай Аполлонович; из-под полы шинели у него болтался кусок красного шелка; нос уткнув в николаевку, Николай Аполлонович Аблеухов помчался по направлению к мосту.

.....

66 Петербург, Петербург!

Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердый; ты — непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали — повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он — не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.

От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.

О, большой, электричеством блещущий мост!

Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью перегнулся и я: миг, — и тело мое пролетело б в туманы.

О, зеленые, кишашие бациллами воды!

Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого каналъца; за своими плечами прохожий бы видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы...

Проходил бы он далее... до чугунного моста.

На чугунном мосту обернулся бы он; и он ничего не увидел бы: над сырыми перилами, над кишашей бациллами зеленоватой водой пролетели бы лишь в сквозняки приневского ветра — котелок, трость, уши, нос и усы.

Ты его не забудешь век!

Мы увидели в этой главе сенатора Аблеухова; увидели мы и праздные мысли сенатора в виде дома сенатора, в виде сына сенатора, тоже носящего в голове свои празд-

ные мысли; видели мы, наконец, еще праздную
ть — незнакомца. 67

Эта тень случайно возникла в сознании сенатора Аблеухова, получила там свое эфемерное бытие; но сознание Аполлона Аполлоновича есть теневое сознание, потому что и он — обладатель эфемерного бытия и порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра.

Автор, развесив картины иллюзий, должен бы был поскорей их убрать, обрывая нить повествования хотя бы этой вот фразой; но... автор так не поступит: на это у него есть достаточно прав.

Мозговая игра — только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил: и пусть Аполлон Аполлонович соткан из нашего мозга, он сумеет все-таки напугать иным, потрясающим бытием, нападающим ночью. Атрибутами этого бытия наделен Аполлон Аполлонович; атрибутами этого бытия наделена вся его мозговая игра.

Раз мозг его разыгрался таинственным незнакомцем, незнакомец тот — есть, действительно есть: не исчезнет он с петербургских проспектов, пока существует сенатор с подобными мыслями, потому что и мысль — существует.

И да будет наш незнакомец — незнакомец реальный!
И да будут две тени моего незнакомца реальными тенями!

Будут, будут те темные тени следовать по пятам незнакомца, как и сам незнакомец непосредственно следует за сенатором; будет, будет престарелый сенатор гнаться и за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!

Конец первой главы

ГЛАВА ВТОРАЯ,

*в которой повествуется о неком свидании,
чреватом последствиями*

Я сам, хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят,
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ.

А. Пушкин

Дневник происшествий

Наши почтенные граждане не читают газетный *«Дневник происшествий»*; в октябре тысяча девятьсот пятого года *«Дневник происшествий»* не читали и вовсе; наши почтенные граждане, верно, читали передовицы *«Говарища»*, если только не состояли они подписчиками са-моновейших, громоносных газет; эти последние вели дневник иных происшествий.

Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к *«Дневнику происшествий»*; к *«Дневнику»* бросился и я; и читая этот *«Дневник»*, я прекрасно осведомлен. Ну, кто, в самом деле, прочитывал все сообщения о кражах, о ведьмах, о духах в упомянутом девятьсот пятом году? Все, конечно, читали передовицы. Сообщения, здесь изложенного, вероятно, не вспомнит никто.

Это — быть... Вот газетные вырезки того времени (автор будет молчать): наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов и пропаже какого-то лите-

ратора (Дарьяльского, кажется) вместе с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем ряд интересных известий — сплошную фантастику, что ли, от которых закружится голова любого читателя Конан-Дойля. Словом — вот газетные вырезки.

«Дневник происшествий».

«Первое октября. Со слов курсистки высших фельдшерских курсов N. N. мы печатаем об одном чрезвычайно загадочном происшествии. Поздно вечером первого октября проходила курсистка N. N. у Чернышева Моста. Там, у моста, курсистка N. N. заметила очень странное зрелище: над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное, атласное домино; на лице у красного домино была черная кружевная маска».

«Второе октября. Со слов школьной учительницы M. M. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница M. M. давала утренний свой урок в O. O. городской школе; школа окнами выходила на улицу; вдруг в окне закружился с неистовой силою пыльный столб, и учительница M. M. вместе с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам O. O. городской школы; как-то же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, подбежало к окнам O. O. городской школы и прикикло черною кружевною маской к окну? В O. O. земской школе занятия прекратились...»

«Третье октября. На спиритическом сеансе, состоявшемся в квартире уважаемой баронессы R. R., дружно собравшиеся спириты составили спиритическую цепь: но едва составили они цепь, как среди цепи обнаружилось домино и коснулось в пляске складками мантии кончика носа титулярного советника С. Врач Г-усской больницы констатировал на носу титулярного советника С. сильнейший ожог: кончик носа, по слухам, покроют лиловые пятна. Словом, всюду — красное домино».

Наконец: *«Четвертое октября.* Население слободы И. единодушно бежало пред явлением домино: составляется

70 ряд протестов; в слободу вызвана У-сская сотня казаков».

Домино, домино — в чем же сила? Кто курсистка N. N., кто такое M. M., наставница класса, баронесса R. R. и так далее?.. В девятьсот пятом году вы, конечно, читатель, не читывали *«Дневника происшествий»*. Так вините ж себя, а не автора: а *«Дневник происшествий»*, поверьте, забежал в библиотеку.

Что такое газетный сотрудник? Он, во-первых, есть деятель периодической прессы; и как деятель прессы (шестой части света) получает он за строку — пятачок, семь копеечек, гривенник, пятиалтынник, двугривенный, сообщая в строке все, что есть и чего никогда не бывало. Если бы сложить газетные строки любого газетного деятеля, то единая, из строк сложенная строка обвила б земной глобус тем, что было, и тем, чего не было.

Таковы почтенные свойства большинства газетных сотрудников крайних правых, правых, средних, умеренных либеральных, наконец, революционных газет совокупно с исчислением их количества, качества — этими почтенными свойствами открывается просто так ключ к истине тысяча девятьсот пятого года, — истине *«Дневника происшествий»* под рубрикой *«Красное Домино»*. Вот в чем дело: один почтенный сотрудник несомненно почтенной газеты, получая пятак, вдруг решил использовать один факт, рассказанный в одном доме; в этом доме хозяйкою была дама. Дело, стало быть, не в почтенном сотруднике, получающем за строку; дело, стало быть, в даме...

Кто же дама?

Так с нее и начнем.

Дама: гм! и хорошенькая... Что есть дама?

Дамских свойств не открыл хиромант; сиротливо стоит хиромант пред загадкою, озаглавленной *«дама»*: в таком случае, как за эту загадку приняться психологу, или — фи! — как приняться писателю? Загадка усугубится, если дама — молоденькая, если про нее говорят, что она хороша.

Так вот: была одна дама; и она от скуки посещала женские курсы; и еще от скуки она иногда по утрам за-

мещала учительницу в О.О. городской школе, 71
если только вечером не была она в спиритическом кружке в вакантные от балов дни; нечего говорить, что курсистка N. N., и М. М. (наставница класса), и R. R. (баронесса спиритка) была только дама: и дама хорошенкая. У нее-то почтенный газетный сотрудник просиживал вечера.

Эта дама однажды, смеясь, ему сообщила, что какое-то красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Так попало невинное признание хорошенкой дамы на столбцы газет под рубрикой «*Дневник происшествий*». И попав в «*Дневник происшествий*», расплелось в серию никогда не бывших событий, угрожавших спокойствию.

Что же было? Даже и сплетенный дым поднимается от огня. Что же было огнем этих дымов почтенной газеты, о которых прочла вся Россия и которых, к стыду, не прочел, наверное, ты?

Софья Петровна Лихутина

Та дама... Но той дамой была Софья Петровна; ей придется нам тотчас же уделить много слов.

Софья Петровна Лихутина отличалась, пожалуй, чрезмерной растительностью: и она была как-то необычайно гибка: если Софья Петровна Лихутина распустила б черные свои волосы, эти черные волосы, покрывая весь стан, упали б до икр; и Софья Петровна Лихутина, говоря откровенно, просто не знала, что делать ей с этими волосами своими, столь черными, что, пожалуй, черней не было и предмета; от чрезмерности ли волос, или от их черноты — только, только: над губками Софьи Петровны обозначался пушок, угрожавший ей к старости настоящими усиками. Софья Петровна Лихутина обладала необычайным цветом лица; цвет этот был — просто жемчужный цвет, отличавшийся белизной яблочных лепестков, а то — нежною розоватостью; если же что-либо неожиданно волновало Софью Петровну, вдруг она становилась совершенно пунцовой.

72 Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были глазками, а были глазами: если б я не боялся впасть в прозаический тон, я бы назвал глазки Софьи Петровны не глазами — глазищами темного, синего — темно-синего цвета (назовем их очами). Эти очи то искрились, то мутнели, то казались тупыми, какими-то выцветшими, углубленными в провалившихся орбитах, синевато-зловещих: и косили. Ярко-красные губы ее были слишком большими губами, но... зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! И притом — детский смех... Этот смех придавал оттопыренным губкам какую-то прелесть; и какую-то прелесть придавал гибкий стан; и опять-таки гибкий чрезмерно: все движения этого стана и какой-то нервной спины то стремительны были, то вялы — неуклюжи до безобразия.

Одевалась Софья Петровна в черное шерстяное платье с застежкой на спине, облакавшее ее роскошные формы; если я говорю *роскошные формы*, это значит, что словарь мой иссяк, что банальное слово «*роскошные формы*» обозначает для Софьи Петровны как-никак, а угрозу: преждевременную полноту к тридцати годам. Но Софье Петровне Лихутиной было двадцать три года.

Ах, Софья Петровна!

Софья Петровна Лихутина проживала в маленькой квартирке, выходившей на Мойку; там со стен отовсюду упали каскады самых ярких, неугомонных цветов: ярко-огненных — там и здесь — поднебесных. На стенах японские веера, кружева, подвесочки, банты, а на лампах: атласные абажуры разведали атласные и бумажные крылья, будто бабочки тропических стран; и казалось, что рой этих бабочек, вдруг слетевши со стен, порасплещется поднебесными крыльями вокруг Софьи Петровны Лихутиной (знакомые офицеры ее называли ангел Пери, вероятно, слив два понятия «Ангел» и «Пери» просто в одно: ангел Пери).

Софья Петровна Лихутина на стенах поразвесила японские пейзажи, изображавшие вид горы Фузи-Ямы, — все до единого; в развешанных пейзажиках вовсе не было перспективы; но и в комнатках, туго набитых креслами,

софами, пуфами, веерами и живыми японскими хризантемами, тоже не было перспективы: перспективой являлся то атласный альков, из-за которого выпорхнет Софья Петровна, или с двери слетающий, шепчущий что-то тростник, из которого выпорхнет все она же, а то Фузи-Яма — пестрый фон ее роскошных волос; надо сказать: когда Софья Петровна Лихутина в своем розовом *кимоно* по утрам пролетала из-за двери к алькову, то она была настоящей японочкой. Перспективы же не было.

Комнатки были — малые комнатки: каждую занимал лишь один огромный предмет: в крошечной спальней постель была огромным предметом; ванна — в крошечной ванной; в гостиной — голубоватый альков; стол с буфетом — в столовой; тем предметом в комнатке для прислуги — была горничная; тем предметом в мужниной комнате был, разумеется, муж.

Ну, откуда же быть перспективе?

Все шесть крохотных комнаток отоплялись паровым отоплением, отчего в квартирке задушивал вас влажный оранжерейный жар; стекла окон потели; и потел посетитель Софьи Петровны; вечно потели — и прислуга, и муж; сама Софья Петровна Лихутина покрывалась испариной, будто теплой росой японская хризантема. Ну, откуда же в этой тепличке завестись перспективе?

Перспективы и не было.

Посетители Софьи Петровны

Посетитель оранжерейки Софьи Петровны, *ангела Пери* (кстати сказать, обязанный ангелу поставлять хризантемы), всегда ей хвалил японские пейзажи, присоединяя попутно свои рассуждения о живописи вообще; и наморщивши черные бровки, ангел Пери веско как-то выпаливал: «Пейзаж этот принадлежит перу *Хадусаи*»*... Ангел решительно пугал как все собственные имена, так и все иностранные слова. Посетитель художник обижал-

* Хокусая. — *Примеч. авт.*

74 ся при этом; и впоследствии к ангелу Пери не обращался с рацеями о живописи вообще: между тем этот ангел на последние свои карманные деньги накупал пейзажи и подолгу-подолгу в одиночестве любовался на них. Посетителя Софья Петровна не занимала ничем: если это был светский молодой человек, преданный увеселениям, она считала нужным хохотать по поводу всех его и шутливых, и шутливых не вовсе, и серьезнейших слов; на все она хохотала, становилась пунцовой от хохота, и испарина покрывала ее крохотный носик; светский молодой человек становился тогда отчего-то также пунцовым; испарина покрывала и его нос: светский молодой человек удивлялся ее молодому, но далеко не светскому хохоту; удивлялся так, относил Софью Петровну Лихутину к демимонду; между тем на стол появлялась кружка с надписью «*благодетельный сбор*» и Софья Петровна Лихутина, ангел Пери, хохоча, восклицала: «Вы опять сказали мне *фифку* — платите же». (Софья Петровна учредила недавно благотворительный сбор в пользу безработных за каждую светскую *фифку*: *фифками* почему-то называла она нарочито сказанную глупость, производя это слово от «*фи*»...) И барон Оммау-Оммергау, желтый Ее Величества кирасир, и граф Авен, кирасир синий, и лейб-гусар Шпорышев, и чиновник особых поручений в канцелярии Аплеухова Вергефден (все светские молодые люди) говорили за *фифкою фифку*, кладя в жестяную кружку двугривенный за двугривенным.

Почему же у ней бывали столькие офицеры? Боже мой, она танцевала на балах; и не будучи демимондной дамой, была дамой хорошенькой; наконец, она была офицершею.

Если же посетитель Софьи Петровны оказывался или сам музыкант, или сам музыкальный критик, или просто любитель музыки, Софья Петровна поясняла ему, что ее кумиры — *Дункан и Никюш*; в восторженных выражениях, не столько словесных, сколько жестикуляционных, она поясняла, что и сама намерена изучить мелоластику, чтоб исполнить танец полета Валькирий ни более ни ме-

нее как в Байрейте; музыкант, музыкальный критик или просто любитель музыки, потрясенный неверным произнесением двух собственных имен (сам-то он произносил *Дэнкан*, *Никиш*, а не *Дункан* и *Никйш*), заключал, что Софья Петровна Лихутина просто-напросто *пустая бабенка*; и становился игривее; между тем очень хорошенькая прислуга вносила в комнатку граммофон: и из красной трубы жестяное горло граммофона изрыгало на гостя полет Валькирий. Что Софья Петровна Лихутина не пропускала ни одной модной оперы, это обстоятельство гость забывал: становился пунцовым и чрезмерно развязным. Такой гость выставлялся за дверь Софьей Петровной Лихутиной; и потому музыканты, игравшие для светского общества, были редки в оранжерейке; представители же светского общества граф Авен, барон Оммау-Оммергау, Шпорышев и Вергефден не позволяли себе неприличных выходок по отношению, все-таки, к офицерше, носившей фамилию стародворянского рода Лихутиных: поэтому и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден продолжали бывать. В их числе одно время частенько еще вращался студент, Николенька Аблеухов. И потом вдруг исчез.

Посетители Софьи Петровны как-то сами собою распались на две категории: на категорию светских гостей и на *гостей так сказать*. Эти, так сказать, гости были вовсе не гости: это были все желанные посетители... для отвода души; посетители эти не добивались быть принятыми в оранжерейке; нисколько! Их почти силком к себе затаскивал ангел; и, силком затащив, тотчас же отдавал им визит: в их присутствии ангел Пери сидел с поджатыми губками: не хохотал, не капризничал, не кокетничал вовсе, проявляя крайнюю робость и крайнюю немоту, *а так сказать гости* бурно спорили друг с другом. И слышалось: «революция — эволюция». И опять: «революция — эволюция». Все только об одном и спорили эти, так сказать, гости; то была все ни золотая, ни даже серебряная молодежь: то была медная, бедная молодежь, получавшая воспитание на свои трудовые гроши; словом, то была учащаяся молодежь высших учебных заведений,

76 щеголявшая обилием иностранных слов: «социальная революция». И опять-таки: «социальная эволюция». Ангел Пери неизменно спутывал те слова.

Офицер: Сергей Сергееч Лихутин

Среди прочей учащейся молодежи зачастила к Лихутиным одна в том кругу уважаемая, светлая личность: курсистка, Варвара Евграфовна (здесь могла Варвара Евграфовна изредка повстречать самого Nicolas Аблеухова).

Под влиянием светлой особы ангел Пери однажды осветил своим присутствием — ну, представьте же: митинг! Под влиянием светлой особы ангел Пери поставил на стол и самую свою медную кружку с туманною надписью: «Благотворительный сбор». Разумеется, эта кружка была предназначена для гостей; все же личности, относящиеся к *гостям так сказать*, раз навсегда Софьей Петровной Лихутиной от поборов освобождались; но поборами были обложены и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден. Под влиянием той же светлой особы ангел Пери стал захаживать по утрам в городскую школу О. О. и долбил без всякого толку «*Манифест*» Карла Маркса. Дело в том, что в ту пору у нее ежедневно бывал студент, Николенька Аблеухов, которого можно было без риска ей познакомить как с Варварой Евграфовной (влюбленной в Николеньку), так и с желтым Ее Величества кирасиром. Аблеухов, как сын Аблеухова, всюду, конечно, был принят.

Впрочем, с той поры, как Николенька перестал вдруг бывать у ангела Пери, этот ангел тайком от *гостей так сказать* упорхнул вдруг к спиритам, к баронессе (ну, как ее?), собиравшейся поступить в монастырь. С той поры на столике перед Софьей Петровной красовалась великолепно переплетенная книжечка «*Человек и его тела*» какой-то госпожи Анри Безансон (Софья Петровна опять-таки путала: не Анри Безансон — Анни Безант).

Свое новое увлечение Софья Петровна старательно скрыла как от барона Оммау-Оммергау, так и от, Варвары Евграфовны; несмотря на свой заразительный смех

и на крошечный лобик, скрытность ангела Пери достигала невероятных размеров: так, Варвара Евграфовна ни разу не встретила с графом Авеном, ни даже с бароном Оммау-Оммергау. Разве только однажды в передней она увидела случайно меховую лейб-гусарскую шапку с султаном. Но об этой лейб-гусарской шапке с султаном впоследствии не было речи.

Что́ под всем этим крылось? Бог весть!

Был еще один посетитель Софьи Петровны Лихутиной; офицер: Сергей Сергеевич Лихутин; собственно говоря, это был ее муж; он заведовал где-то там провиантом; рано поутру уходил он из дому; появлялся дома не ранее полуночи; одинаково кротко здоровался просто с гостями и с *гостями так сказать*, с одинаковой кротостью говорил для приличия фифку, опуская в кружку двугривенный (если были при этом граф Авен или барон Оммау-Оммергау), или скромно кивал головой на слова «*революция — эволюция*», выпивал чашку чая и шел в свою комнатку; молодые светские люди про себя его называли *армейчиком*, а учащаяся молодежь — офицером-бурбоном (в девятьсот пятом году Сергей Сергеевич имел несчастье защищать от рабочих своей полуротою Николаевский Мост). Собственно говоря, Сергей Сергеевич Лихутин охотнее всего воздержался бы и от *фифок*, и от слов «*революция — эволюция*». Собственно говоря, он не прочь был бы попасть к баронессе на спиритический сеанс; но о своем скромном желании на правах мужа вовсе он не настаивал, ибо вовсе он не был деспотом по отношению к Софье Петровне: Софью Петровну любил он всею силой души; более того: два с половиною года тому назад он женился на ней вопреки желанию родителей, богатейших симбирских помещиков; с той поры он был проклят отцом и лишен состояния; с той поры для всех неожиданно скромно он поступил в Григорьевский полк.

Был еще посетитель: хитрый хохол-малоросс Липпанченко; этот был весьма сладострастен и звал Софью Петровну не ангелом, а... душканом; про себя же ее называл хитрый хохол-малоросс Липпанченко просто-на-

78 просто: бранкуканом, бранкукашкою, бранкуканчиком (вот слова ведь!). Но держался Липпанченко в границах приличия; и потому-то был он вхож в этот дом.

Добродушнейший муж Софьи Петровны, Сергей Сергеевич Лихутин, подпоручик Гр-горийского Его Величества Короля Сиамского полка, относился с кротостью к революционному кругу знакомств своей дорогой половины; к представителям светского круга относился он лишь с подчеркнутым благодушием; а хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего он терпел: этот хитрый хохол на хохла, кстати сказать, и не походил вовсе: походил скорей на помесь семита с монголом; он был и высок, и толст; желтоватое лицо этого господина неприятно плавало в своем собственном подбородке, выпертом крахмальным воротничком; и носил Липпанченко желто-красный атласный галстук, заколотый стразом, щеголя полосатой темно-желтою парой и такого же цвета остинками; но при этом Липпанченко беззастенчиво красил волосы в коричневый цвет. Про себя Липпанченко говорил, что он экспортирует русских свиной за границу и на этом *свинстве* разжиться собирается основательно.

Как бы ни было, Липпанченко, его одного, недолюбливал подпоручик Лихутин: про Липпанченко ходили темные слухи. Но что спрашивать, кого не любил подпоручик Лихутин: подпоручик Лихутин, разумеется, любил всех: но кого особенно он любил одно время, так это Николая Аполлоновича Аблеухова: ведь друг друга знавали они с самых первых отроческих лет: Николай Аполлонович был, во-первых, шафером на свадьбе Лихутина, во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на Мойке в продолжение, без малого, полутора года. Но потом он скрылся бесследно.

Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Пери.

Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама... А от дамы что спрашивать!

Стройный шафер красавец

Еще в первый день своего, так сказать, «дамства», при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлонович держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокаторжественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белость мраморного лица и божественность волос белольняных: те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне, а лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика (не у всякого же студента есть такой воротник). Ну, и... Николай Аполлонович зачастил к Лихутиным сперва раз в две недели; далее — раз в неделю; два, три, четыре раза в неделю; наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилось в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушечье выражение улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в *то* лицо влюблена, в *то*, а не *это*. Ангел Пери хотела быть примерной женой: а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, — эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее: из-под маски, ужимок, лягушечьих уст она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность: она мучила Абулеухова, осыпала его оскорблениями; но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремления и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обрести в них подлинный, богоподобный лик; так она заломалась: появилась на сцену сперва мелопластика, потом кирасир барон Оммау-Оммергау, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания *фифок*.

Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, ненавидела.

80 С той поры ее действительный муж Сергей Сергеич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартиры на Мойке: стал заведовать, где-то там, провиантом; уходил из дому рано утром; появлялся с полуночи: говорил для приличия *фифку*, опуская в кружку двугривенный, или скромно кивал головой на слова «*революция — эволюция*», выпивал чашку чая и шел к себе спать; надо же было утром как можно ранее встать и идти, где-то там, заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеич, где-то там, стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять.

Но свободы Софья Петровна не вынесла: у нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик; вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств: потому что она была дама; а в дамах нельзя будить хаоса: в этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще не бывалых геройств; в каждой даме таится преступница: но совершись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе.

Скоро мы без сомнения докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлоновича на две самостоятельные величины: богоподобный лед — и просто лягушечья слякоть; та вот двойственность и является принадлежностью любой дамы: двойственность — по существу не мужская, а дамская принадлежность; цифра два — символ дамы; символ мужа — единство. Только так получается троичность, без которой возможен ли домашний очаг?

Двойственность Софьи Петровны мы выше отметили: нервность движений — и неуклюжая вялость; недостаточность лобика и чрезмерность волос; Фузи-Яма, Вагнер, верность женского сердца — и «*Анри Безансон*», граммофон, барон Оммергау и даже Липпанченко. Будь Сергей Сергеич Лихутин или Николай Аполлонович действительными единствами, а не двойцами, троичность бы была; и Софья Петровна нашла бы гармонию жизни в союзе с мужчиной; граммофон, мелопластика, Анри

Безансон, Липпанченко, даже Оммау-Оммергау 81
полетели бы к черту.

Но не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок. Оттого-то все то и произошло.

Что же произошло?

В Софье Петровне Николай Аполлонович-лягушонок увлекся глубоким сердечком, приподнятым надо всей суетой: не крохотным лобиком — волосами; а божественность Николая Аполлоновича, презирая любовь, упивалась цинично так мелопластикой; *оба* спорили в нем, кого любить: бабенку ли, ангела ли? Ангел Софья Петровна, как ангелу естественно подобает, возлюбила лишь *бога*: а бабенка запуталась: неприятной улыбкой она сперва возмущалась, а потом она полюбила именно это свое возмущение; полюбивши же ненависть, полюбила гаденькую улыбку, но какою-то странной (все сказали бы, что развратной) любовью: что-то было во всем этом неестественно жгучее, неизведанно сладкое, роковое.

Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна! Одним словом: дама и дама...

А от дамы что спрашивать!

Красный шут

Собственно говоря, последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе: пред граммофонной трубой, изрыгающей «*Смерть Зигфрида*», она училась телодвижению (и еще какому!), поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку; далее: ножка ее из-под столика Аблеухова касалась не раз и не два. Неудивительно, что этот последний не раз ангела и порывался обнять; но тогда ускользал ангел, сперва обливая поклонника холодом: и потом опять принимался за старое. Но когда однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений, Николай Аполлонович не выдержал: вся многодневная его безысходная страсть

82 бросилась в голову (Николай Аполлонович в борьбе ее уронил на софу)... Но Софья Петровна мучительно укусила до крови губ ее искавшие губы, а когда Николай Аполлонович растерялся от боли, то пощечина звонко огласила японскую комнату.

— «Уу... Урод, лягушка... Ууу — красный шут».

Николай Аполлонович ответил спокойно и холодно:

— «Если я — красный шут, вы — японская кукла...»

С чрезвычайным достоинством распрявился он у дверей; в этот миг лицо его приняло именно то далекое, ею однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно она его полюбила; и когда ушел Николай Аполлонович, она грохнулась на пол, и царапая, и кусая в плаче ковер; вдруг вскочила она и простерла в дверь руки:

— «Приходи, вернись — бог!»

Но в ответ ей ухнула выходная дверь: Николай Аполлонович бежал к большому петербургскому мосту. Ниже увидим мы, как у моста он принял одно роковое решение (при свершении некоего акта погубить и самую жизнь). Выражение «*Красный шут*» чрезвычайно задело его.

Более Софья Петровна Лихутина его не видала: из какого-то дикого протеста к аблеуховским увлечениям *революцией — эволюцией* ангел Пери невольно отлетел от учащейся молодежи, прилетая к баронессе R. R. на спиритический сеанс. И Варвара Евграфовна стала реже захаживать. Зато опять зачистили: и граф Авен, и барон Оммау-Оммергау, и Шпорышев, и Вергефден, и даже... Липпанченко: и Липпанченко чаще прочих. С графом Авеном, бароном Оммау-Оммергау, со Шпорышевым и с Вергефденом, даже... с Липпанченко она хохотала без устали; вдруг, оборвав смех, она спрашивала задорно:

— «Я ведь кукла — не правда ли?»

И они отвечали ей фифками, сыпали серебро в жестяную кружечку с надписью «*благодарительный сбор*». А Липпанченко ей ответил: «Вы — душкан, бранкукан, бранкукашка». И принес ей в подарок желтолицую куколку.

А когда она это самое сказала и мужу, ничего не ответил ей муж, Сергей Сергеич Лихутин, подпоручик

Гр-горийского, Его Величества Короля Сиамского полка, и ушел будто спать: он заведовал, где-то там, провиантами; но войдя в свою комнату, он уселся писать Николаю Аполлоновичу кроткое свое письмецо: в письмеце он осмелился известить Аблеухова, что он, Сергей Сергеевич, подпоручик Гр-горийского полка, покорнейше просит о следующем: не желая вмешиваться по причинам принципиальным в отношения Николая Аполлоновича к бесценно им любимой супруге, тем не менее он просит настойчиво (слово «настойчиво» было три раза подчеркнуто) навсегда оставить их дом, ибо нервы его бесценно любимой супруги расстроены. О своем поведении Сергей Сергеевич скрыл; поведение его не изменилось ни капли: так же он уходил спозаранку; возвращался к полуночи; говорил для приличия *фифку*, если видел барона Оммау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видел Липпанченко, благодушнейшим образом кивал головой на слова *эволюция — революция*, выпивал чашку чая и тихонько скрывался: он заведовал — где-то там — провиантами.

Был Сергей Сергеевич высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и чудесно блистающими глазами: но он был, к сожалению, в темно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни чудесного этих глаз выраженья.

Подлость, подлость и подлость

В эти мерзлые, первооктябрьские дни Софья Петровна была в необычайном волнении; оставаясь одна, в оранжерейке, вдруг она начинала морщить свой лобик, и вспыхивать: становилась пунцовой; подходила к окну, чтоб платочком из нежного сквозного батиста протереть запотевающие стекла; стекло начинало повизгивать, открывая вид на канал с проходившим мимо господином в цилиндре — не более; будто бы обманувшись в предчувствии, ангел Пери зубками начинал теревить и кром-сать засыревший платочек, и потом бежал надевать свою черную шубку из плюша и такую же шапочку (Софья

84 Петровна одевалась прескромно), чтоб, прижавши к носику меховую муфту, суетливо слоняться от Мойки до набережной; даже раз зашла она в цирк Чинизелли и увидела там природное диво: бородатую женщину; чаще же всего забегала она на кухню и шепталась с молоденькой горничной, Мávрушкой, прехорошенькой девочкой в фартучке и бабочкообразном чепце. И косили глаза: так всегда у нее косили глаза в минуты волнений.

А, однажды, она при Липпанченко, с хохотом выхватила шпильку от шляпы и всадила в мизинчик:

— «Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я... кукла».

Но Липпанченко ничего не понял: рассмеялся, сказал:

— «Вы не кукла: душкан».

И его, рассердясь, от себя прогнал ангел Пери. Схватив со стола свою шапку с наушниками, удалился Липпанченко.

А она металась в оранжерейке, морщила лобик, вспыхивала, протирала стекло; прояснялся вид на канал с пролетавшей мимо каретой: не более.

Что́ же более?

Дело вот в чем: несколько дней назад Софья Петровна Лихутина возвращалась домой от баронессы R. R. У баронессы R. R. в этот вечер были постукиванья; белесоватые искорки бегали по стене; и однажды подпрыгнул даже стол: ничего более; но нервы Софьи Петровны натянулись до крайности (после сеанса она бродила по улицам), а ее домовый подъезд не освещался (для дешевых квартирок не освещают подъездов): и внутри черного подъездного входа Софья Петровна так явственно видела, как уставилось на нее еще черней темноты пятно, будто черная маска; что-то мутно краснело под маской, и Софья Петровна что есть силы дернула за звонок. А когда распахнулась дверь и струя яркого света из передней упала на лестницу, вскрикнула Мávрушка и всплеснула руками: Софья Петровна ничего не увидела, потому что стремительно она пролетела в квартиру. Мávрушка видела: за спиною у барыни красное, атласное домино про-

тянуло вперед свою черную маску, окруженную снизу густым веером кружев, разумеется, черных же, так что эти черные кружева на плечо упали к Софье Петровне (хорошо, что она не повернула головки); красное домино протянуло Маврушке свой кровавый рукав, из которого торчала визитная карточка; и когда пред рукою захлопнулась дверь, то и Софья Петровна увидела у двери визитную карточку (пролетела, верно, в щель двери); что же было начертано на визитной той карточке? Череп с костями вместо дворянской короны да еще модным шрифтом набранные слова: «Жду вас в маскараде — там-то, такого-то числа»; и далее подпись: «*Красный шут*».

Софья Петровна весь вечер проволновалась ужасно. Кто мог нарядиться в красное домино? Разумеется, он, Николай Аполлонович: ведь его она этим именем как-то раз назвала... Красный шут и пришел. В таком случае как назвать подобный поступок с беззащитной женщиной? Ну, не подлость ли это?

Подлость, подлость и подлость.

Поскорее бы возвращался муж, офицер: он проучит нахала. Софья Петровна краснела, косила, кусала платочек и покрывалась испариной. Хоть бы кто-нибудь приходил: хоть бы Авен, хоть бы барон Оммау-Оммергау, или Шпорышев, или даже... Липпанченко.

Но никто не являлся.

Ну, а вдруг то не он? И Софья Петровна явственно в себе ощутила расстройство: было жалко как-то расстаться с мыслями о том, что шут — он; в этих мыслях вместе с гневом сплелось то же сладкое, знакомое, роковое чувство; ей хотелось, должно быть, чтобы он оказался — совершеннейшим подлецом.

Нет — не он: не подлец же он, не мальчишка!.. Ну, а если это сам красный шут? Кто такой красный шут, на это она не могла себе внятно ответить: а — все-таки... И упало сердце: не он.

Маврушке тут же она приказала молчать: в маскарад же поехала; и тайком от кроткого мужа: в первый раз она поехала в маскарад.

86 Дело в том, что Сергей Сергеич Лихутин строго-настрого запретил ей бывать в маскарадах. Странный был: эполетом, шпагою, офицерскою честью дорожил (не бурбон ли?).

Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до офицерской до чести. Скажет только: «Даю офицерское честное слово — быть тому-то, а тому — не бывать». И — ни с места: непреклонность, жестокость какая-то. Как, бывало, на лоб приподнимет очки, станет сух, неприятен, деревянен, будто вырезан из белого кипариса, кипарисовым кулаком простучит по столу; ангел Пери тогда испуганно вылетал из мужниной комнаты: носик морщился, капали слезки, запиралась озлобленно спальная дверь.

Из числа посетителей Софьи Петровны, из *гостей так сказать*, толковавших о революции — эволюции, был один почтенный газетный сотрудник: Нейнтельпфайн; черный, сморщенный, с носом, загнутым сверху вниз, и с бородкой, загнутой в обратную сторону. Софья Петровна его уважала ужасно: и ему-то доверилась; он и свез ее в маскарад, где какие-то все шуты-арлекины, итальянки, испанки и восточные женщины из-под черных бархатных масок друг на друга поблескивали недобрыми огоньками глаз; под руку с Нейнтельпфайном, почтенным газетным сотрудником, Софья Петровна скромно расхаживала по залам в черном своем домино. И какое-то красное, атласное домино все металось по залам, все искало кого-то, протянув вперед свою черную маску, под которой плескался густой веер из кружев, разумеется, черных же.

Вот тогда-то Софья Петровна Лихутина и рассказала верному Нейнтельпфайну о загадочном происшествии, ну, конечно, спрятав все нити; маленький Нейнтельпфайн, почтенный сотрудник газеты, получал пятак за строку: с той поры и пошло, и пошло, что ни день — в «*Дневнике происшествий*» заметка; красное домино, да красное домино!

О домино рассуждали, волновались ужасно и спорили; одни видели тут революционный террор; а другие